



Хоакин Сантана

**ИЛ**  
Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

# Воспоминания об улице Магнолии

41

**Joaquín G. Santana**

**Recuerdos**

**de la calle Magnolia**

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

---

Хоакин Сантана

Воспоминания  
об улице Магнолии

Повесть

*Перевод с испанского Н. Булгаковой  
Предисловие Р. Феррера*

Москва  
«Известия»  
1982

И (ЛАТИН)  
С18

*Главный редактор Н. Т. ФЕДОРЕНКО*

- Сантана Х.**  
С18 Воспоминания об улице Магнолии / Пер. с исп. Н. Булгаковой. Предисл. Р. Феррера./— М.: Известия, 1982. 128 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Кубинский писатель рассказывает о предреволюционной Гаване, о жизни небольшой улицы, населенной бедным трудовым людом.

С  $\frac{4703000000-037}{074(02)-82}$  -715-82

**ББК84.7Ку**  
**И(Латин)**

© Editorial Letras Cubanas 1980, Habana

© Перевод на русский язык, предисловие издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1982.

## Мальчики с улицы Магнолии

Краткими будут эти заметки, предваряющие книгу «Воспоминания об улице Магнолии» кубинского писателя Хоакина Сантаны. Материалом для нее послужил жизненный опыт автора, чье детство прошло в мрачные годы диктатуры Батисты, а юность совпала с началом процесса построения социализма на Кубе.

Предлагаемую советскому читателю повесть можно назвать родной сестрой первого романа Х. Сантаны «Ноктюрн зверя» (1976), получившего у нас широкое признание. «Воспоминания об улице Магнолии» — взволнованный, искренний рассказ о тех полных тревог предреволюционных временах, которые нашли свое завершение в подвиге кубинского народа, обретшего в тяжелой борьбе свое национальное освобождение.

Магнолия — это улица в одном из бедных кварталов Гаваны, где живут герои этой книги — простые труженики, соседи, объединенные общими заботами о хлебе насущном и ненавистью к общему врагу. Обыкновенные люди, которых жизненные обстоятельства мало-помалу превращают в истинных героев. Их дети, в том числе главный персонаж повести, становятся в течение двух десятилетий, протекающих на страницах повести, сознательными революционерами.

Советский читатель, быть может, воспримет книгу Хоакина Сантаны как одну из глав эпопеи, написанной самой жизнью, эпопеи под названием «Кубинская революция», этой богатейшей сокровищницы, из которой десятки наших молодых писателей черпают драгоценные сюжеты для литературных произведений в духе истинного реализма. Именно реализма, независимо от того, какими формами и средствами изображения они пользуются, какие слои общества воссоздают, ибо тема у них одна — борьба народа против тех, кто стремится любыми средствами подавить в нашей стране ростки новой жизни.

Магнолия — узенькая улочка, застроенная прохладными де-

ревянными домами с высокими парадными и террасами, огороженными перилами,— представляется мне в цвету, залитой ярким солнечным светом. Именно эта улица и стала в книге Сантаны той сценой, причем единственной, на которой картины, быстро сменяя одна другую, образуют насыщенное, многоплановое действие повести. И кажется чудом, что каждый скупой эпизод книги производит на нас столь сильное впечатление и несет в себе такую значительную информацию.

Описаниям и диалогам повести свойствен необычный динамизм. Два десятка персонажей этого произведения действуют настолько естественно в данных обстоятельствах, их разговор с такой точностью передает язык эпохи, что достоверность нарисованного Хоакином Сантаной мира превращает его в модель любого другого уголка Кубы того двадцатилетия, периода, когда кубинский народ поднялся на борьбу, не желая больше мириться с рабским существованием. Кровью лучших своих сынов заплатил он за право на достойную жизнь.

На улице, которая борется, нет и не может быть нейтральных, темных, двусмысленных персонажей. Здесь физически ощущается противостояние двух миров: мира эксплуататоров и мира эксплуатируемых, противостояние «тех,— говоря словами Хосе Марти,— кто любит и строит, тем, кто ненавидит и разрушает».

Если придерживаться этой, оговоримся, упрощенной схемы, то эксплуатация предстает здесь во всех ее формах, как скрытых (школа, религия, пропаганда, закон), так и явных — (дома терпимости, игорные заведения, произвол). Не говоря о жестоких полицейских репрессиях, к которым прибегает тирания всякий раз, когда народный гнев вздымает волну протеста и мятежа.

Слово в этой книге правдиво выражает саму суть происходящего. Художественное творчество как поэтическая выдумка, проявляясь в «Воспоминаниях об улице Магнолии» в форме лирических отступлений, колоритных монологов персонажей, не выходит за пределы — да этого и не нужно — достоверности, столь свойственной прозе, дающей плодородные всходы на ниве реального чуда революции.

Точно используя слово, ясно выражая свои мысли, ведет свой рассказ ребенок-юноша, погружая нас в действительность тех лет, на которую он смотрит сквозь призму своей отроческой наивности, не вникая в причины существующего порядка вещей. Однако он уже умеет дать правильную оценку несправедливости, омрачившей ранние годы его жизни, вонзившей в него свои шипы. «К марту 1952 года нам в среднем было по четырнадцать лет... В атмосфере насилия и репрессий прожили мы наше детство и оказались на пороге юности. Мы поняли: чтобы стать свободными людьми, надо поставить на карту многое, может быть, собственную жизнь. Мы так и сделали и, право же, не пожалели об этом».

Да, это те «мальчики», которые появились потом и в Никарагуа, и в Сальвадоре, и в Гватемале... и во многих других (пока несвободных) уголках Америки и всего мира: «мальчики» с улицы Магнолии, ставшие мужчинами в то единственное и неповторимое время революционного подъема, которое так хорошо знакомо советскому народу, ибо он сам является героем величайшей революции на земле.

Сколько их, детей бедных городских кварталов, деревень и сел, влившихся в поток революции, воевавших в горах в партизанских отрядах, участвовавших в самых смелых и опасных боевых акциях! Это они разгромили империалистических наемников на Плайя-Хирон, очистили нашу землю от контрреволюционных банд, провели кампанию по ликвидации неграмотности, обучили чтению и письму сотни тысяч детей и взрослых.

Действующие лица книги — это, по сути, постоянные персонажи и герои многих романов, повестей и рассказов, созданных нашими молодыми писателями на протяжении первых двадцати лет после победы социалистического строя на родине Хосе Марти и Фиделя Кастро, называемой вами — а это ко многому обязывающая честь — Островом Свободы.

Повесть легко читается, ее диалоги настолько живы, что звучат словно с киноэкрана или со сценических подмостков. Я думаю, что их хорошо читать в полный голос.

Как бы мне хотелось сегодня выучить — как писал Мая-

ковский — язык, на котором разговаривал Ленин, чтобы прочесть по-русски книгу Хоакина Сантаны, переведенную с любовью и тщанием (я в этом уверен) для советских читателей. Надеюсь, что последние с симпатией отнесутся к этой небольшой повести, столь полной поэзии. Или, быть может, этой мужественной поэме, которую автор назвал повестью.

*Рауль Феррер*  
*(Гавана)*

# Часть первая Сороковые

## Фермин

Те, кто основал эту улицу, пришли сюда из бездн отчаяния. Была она делом рук несчастных, потерпевших крушение людей, мечтавших здесь, на границе монастырских владений, вновь возродить из праха свои безнадежно сломленные жизни.

Какой-то буколический поэт-неудачник окрестил ее: Магнолия.

Никто уже не помнит, когда и почему он дал ей это имя. Оно словно само проросло меж камней мостовой, сквозь доски деревянных развалюх и сразу было принято всеми. Шелестя, трепетали на своих стебельках свисавшие через изгороди магнолии — живая иллюстрация к названию улицы.

Когда наступал период дождей, вода потоками устремлялась вниз по улице, к шоссе: она разливалась, бурлила, билась о деревянные планки порогов, мешавших ей затопить земляные полы жилищ.

Люди кидались расставлять в пыльных, пересохших двориках тазы и ведра, чтобы собрать желанную влагу. От дождевой воды становились мягкими волосы девушек; иногда дождевую воду даже пили, предварительно прокипятив, чтобы избавить мужчин от хождения на колонку в соседний квартал.

Улица и живущие на ней люди — единое целое. Нельзя отделить одно от другого. Вот приблизительный, в порядке очередности, список ее основателей:

1. Фермин.
2. Старик Сантамариа и его сестры.
3. Бальбина (она так и называет себя — основательница).
4. Мой дед Руфино.
5. Каталина.
6. Магдалена.
7. Родители Лауры, а потом и сама Лаура, которая родилась здесь и умерла, так и не увидев мира, лежащего за пределами улицы.
8. Ньика и ее сын Рябой.
9. Гильот Хапуга.
10. Негр Канет.
11. Красавица Клаудиа.
12. Вегита.
13. Братья Привидения.
14. И конечно же мы, «ребятня».

Два-три человека из первых поселенцев в поисках лучшей доли перебрались в другие кварталы, где, как нам стало известно, так и не нашли счастья.

Мой дед Руфино был в юности преисполнен широких «захватнических» планов и устремлений. Это именно он пробудил тягу к расширению жизненного пространства среди обитателей улицы и протянул ее до канала по другую сторону шоссе. Он же занялся реконструкцией улицы: поручил деревянные хибары и с энтузиазмом принялся возводить новые каменные дома.

К тому времени как народились мы, «ребятня», улица уже была одета в асфальт, а в «стариках» частично угас первоначальный пыл. Похоже, они сделали все, что могли, для процветания Магнолии. Но сыновья наших дедов не слишком заботились о дальнейших преобразованиях: они погрузились в повседневную суету и забыли о своем долге перед улицей. Компания позаботилась об остальном: она заглотала их всех единым махом, одела в рабочие комбинезоны и оставила время только для сна.

Она же внесла раскол в наши ряды.

Былое единство пошло прахом. Люди бились за места у стан-

ков. Некоторые из них, снискав поощрительные улыбки чужеземных хозяев, возгордились было, но как-то сразу слиняли, словно мнимая устойчивость положения, которую им давала регулярная зарплата, иссушила их души.

Люди ссорились, предавали, ставили друг другу подножки. Лишь немногие остались самими собой, не побоялись лишений и повернулись спиной к соблазну нацепить на грудь жетончик с номером Компании.

Одного из них звали Фермин. Другим был мой дед Руфино.

И только по прошествии многих лет обманутые надежды снова сплотили нас. Ибо в конце концов пришло время, когда наши люди, не привыкшие терпеть унижения, начали оказывать сопротивление произволу. Хозяева все чаще видели перед собой мрачные лица и нередко сталкивались с открытыми проявлениями недовольства.

— Я это убирать не буду. Пусть убирает тот, кто наблевал, — заявил однажды утром старик Сантамариа мистеру Кларку.

Расхристанный, в дымину пьяный американец едва держался на ногах. На рубашке блевотина, веки голубых глазок воспалены и покраснели. Кое-как он дотащился до конторы и принялся царапать приказ об увольнении. Вот тут-то люди сплотились и стали на защиту старика. Это была первая стачка, с которой пришлось столкнуться Компании.

А за ней последовали и первые официальные репрессии.

Фермина забрали как главного смутьяна. За ним пришли домой, но там его не оказалось. Полицейские нашли его в баре Эладио и велели идти с ними. Он отказался, тогда его избили. Жил Фермин один, семьи у него не было. Как-то вечером он забрел на эту улицу и обосновался здесь навсегда. Когда возникла Компания, он устроился туда на работу и был на хорошем счету у администрации, пока не произошла история со стариком Сантамариа.

Тогда-то и стал Фермин душой первой забастовки.

Три дня спустя после ареста его увидели на шоссе: он казался собственной тенью, и вид у него был словно бы отсутствующий. Встретили его радостно, каждый норовил ласково похлопать по спине, по плечам, и тогда от одежды Фермина

летели клубы пыли. Не сказав никому ни слова, он скрылся в доме. Только старику Сантамариа удалось повидаться с ним.

— Эти гады его зверски избили,— сказал старик, вернувшись.

Два дня бедняга Фермин не показывался на улице. Но в одно прекрасное утро мы увидели, как он направляется к монастырю. Пошел исповедоваться, решила улица. Никто до сих пор не знает, так это было или не так. Известно одно — вечером он вернулся, собрал пожитки и покинул свое жилище.

Три дня спустя в монастырском саду, за забором из колючей проволоки, с разрешения отца Тальо выросло боио\*.

В нем он поселился и стал присматривать за монастырскими немецкими овчарками.

Больше уже никто не видел вблизи его заросшего бородой лица. По крайней мере в течение многих лет. Казалось, что по утрам и вечерам за монастырской стеной среди цветов бродит призрак. Мы смотрели на него издали и испытывали страх и благоговение перед этим человеком.

Матери пугали нас Фермином и его собаками, когда мы капризничали.

## Каталина

*Меня сотворили из цветка, который расцветает лишь на земле моей матери, и из полета бабочки, которая вьется лишь в садах, растущих в деревне моего отца. Цветы и бабочки у меня в грудях и лоне: я ношу цветы в волосах, и бабочки, словно пчелы, пьют нектар, разлитый по моим губам. Вот почему так сладостна моя речь.*

*Я легка: ведь каждую святую пятницу я пью бульон из голубок — и задириста, потому что еще маленькой выпила кровь петуха. Я вижу всех насквозь, и мне нравится танцевать. Я вижу всех насквозь, ибо мне дано*

\* Бедная сельская хижина из досок или пальмовых ветвей, крытая пальмовой соломой. (Здесь и далее — примечания переводчика)

читать в людских глазах добро и зло. Посмотрите, какого я цвета: я цвета смуглой земли. У меня аромат колибри, вьющей свои гнезда в горах; это запах моего отца — он с гор. Когда я потею, то источаю его благоухание и вспоминаю о нем.

Я прожила долгую жизнь: я не верю в смерть. Я уже несколько раз умирала. Ведь, живя на земле, учишься потихоньку умирать. Я умерла в день, когда умерла моя мать. А потом я умерла еще два раза: тем утром, когда мой отец облачился в белые одежды и вознесся на небо, оставив меня на земле, где я по сей день ожидаю его возвращения; и последний раз ночью — в объятиях моего Рафаэля

Той ночью я умерла от наслаждения. Я и раньше бывала с мужчинами. Но мне казалось естественным испытывать потом что-то вроде отвращения к тому, что произошло. Такое отвращение и такую усталость, что пропадало желание говорить и слушать. Мне невыносим был надменный, хозяйский взгляд, которым смотрят на нас мужчины после этого: перестаешь чувствовать себя человеком.

С Рафаэлем было совсем по-другому:

Когда все произошло, я ждала отвращения и усталости, но ничего подобного. Он заговорил со мной, и я слушала его с радостью. «Рафаэль, мне кажется, я люблю тебя,— сказала я ему той ночью.— Должно быть, это любовь, то, что я чувствую»,— призналась я моему мужчине. И он смотрел на меня как на равную, в его взгляде не было того унижительного высокомерия, какое я видела в глазах других.

Он ничего мне не ответил, но я уже знала, что он начинал любить меня. Всегда знаешь, когда тебя начинают любить. Пожалуй, я не сумею объяснить это: вот вы смотрите на меня, и это совсем другое, понимаете? А когда приходит он и глядит на меня, словно что-то меня пронзает. Сладкая боль рождается в груди.

Мне кажется, его сотворили из песка пустыни

*и воды, что в лагуне Аригуанабо. Я так думаю, потому что он любит покой, а когда говорит со мною, его слова похожи на незамутненную воду. Вот почему я так думаю. А когда я его спрашиваю, из чего он сотворен, Рафаэль смеется и отвечает: «Из огня». Он целует меня, и от его поцелуя пылает лицо. Только я-то ему не верю. Но хоть я ему и не верю, как видите, молчу. Не хочется мне ему перечить.*

## Наш маленький колледж

В окрестностях монастыря затухает улочка Сан-Ансельмо. Она пересекает Магнолию. Здесь стоит колледж Магдалены; на другом конце — кинотеатр «Мехико». Магдалена не учительница, да и колледж ее никакой по сути дела не колледж. Это маленькая школа для бедняков нашего квартала. Мы ходим туда учиться читать по букварю, который начинается словом «Христос», а потом уже идут буквы «а», «б», «в» и так далее. В школе впервые узнаешь, что такое дисциплина. Магдалена взяла это на себя. Она тоненькая и волосы на затылке собирает в пучок. Она учит нас с увлечением; ей нравятся дети, она счастлива, что нашла свое призвание. Отец каждого ребенка должен платить ей в месяц одно песо. Но ведь не всегда найдется в семье и одно лишнее песо.

Тогда Магдалена мягко улыбается, гладит ребенка по голове и говорит отцу: «Все равно присылайте мне его. Когда раздобудете песо, тогда и расплатитесь. Конечно, деньги мне не помешают, но я могу и подождать».

Мы рассказываемся по скамьям. Букварей у нас мало, один на трех-четыре ребят. Кто-нибудь из нас кладет его себе на колени, а остальные следят, перегнувшись через его плечо.

Веющий от монастыря легкий ветерок не встречает препятствий на своем пути — школа расположена во дворе и у нее нет стен. У нее есть только крыша из пальмовых ветвей на тонких деревянных столбах, и она похожа на ресторанчик

в сельском стиле, которых так много в окрестностях Гаваны. Скамейки делает отец Магдалены. Он начал с трех, но детей все прибывало. И вот теперь мы сидим на шести скамьях, похожих на те, что стоят в монастырской церкви.

Только один раз разбранила меня Магдалена, это случилось в тот день, когда Тыква ущипнул меня за ягодицу. Я шел, уткнув нос в букварь, а он играл с двумя другими мальчишками. При виде меня он захохотал, уперев руки в бока. Когда я проходил мимо, он больно ущипнул меня и захохотал еще громче. Я кинулся на него.

Тыква пустился бежать, я — за ним. Он бросился между скамеек, я крепко помянул его мать. Он ответил новым взрывом хохота. Потом Тыква спрятался за столб, а я стал потихоньку подбираться к нему, отрезая путь к отступлению. Я-то знал, что он побежит к монастырской ограде из колючей проволоки. Улучив момент, я бросился на него, и он, как я и думал, побежал туда. Я круто развернулся, настиг его и дал ему кулаком в нос. Он растерянно взглянул на меня и плотно сжал губы, чтобы не расплакаться. Потом ударил меня в грудь, и я снова вмазал ему. И лупил его, лупил, лупил изо всех сил.

А когда Магдалена схватила меня за руки, я стал его лгать. Он закрыл лицо ладонями и заплакал. «Педик!» — крикнул я ему. А Магдалена сказала, что у меня грязный язык, и, помахав указательным пальцем перед моим носом, пообещала пожаловаться папе. Я вырвался. И снова кинулся на Тыкву. Он втянул голову в плечи, но я тряхнул его как следует и снова врезал ему в нос. И еще раз, и еще, пока струйка крови не смешалась у него с потом и слезами. Тогда меня схватил Магдаленин отец. «Да уймись же ты, паренек!» — крикнул он. Я не слушал его и лишь молча изо всех сил отбивался. Тогда он пригрозил: «Я пожалуйюсь твоему отцу, ты пустил этому мальчишке кровь». Но я, продолжая вырываться, стал вопить, что мне на это сто раз наплевать, и рвался от него все сильнее, а он все пытался меня унять, и тогда я крикнул: «Он меня ущипнул за ягодицу, и я, черт меня задери, убью его!» В этот момент появился мой отец. Ни слова не говоря, он взял меня за руку и все так же молча, не выпуская моей руки, повел домой.

Я шел и плакал. Плакал до тех пор, пока до меня не донесся сверху голос отца: «Этот тебя больше не ущипнет, а если ущипнет, дай ему раз палкой, но старших научись уважать». Тогда я поднял на него глаза, и мы оба рассмеялись.

Это была наша единственная ссора с Магдаленой. В Магдалене всегда было что-то ангельское, очень нежное и мягкое, похожее на музыку. Вот уже много лет, как мы не встречаемся с нею. Последний раз я видел ее с одной из дочерей. Девушка изучала архитектуру. Она была такая же худенькая, как Магдалена, с такими же черными, как у матери, волосами. Я сказал девушке, что ее мать научила меня читать. Магдалена погладила меня по голове и заметила, что я был неплохой мальчик, хотя и очень проказливый. Потом мы вспомнили наш колледж, и глаза Магдалены, которые сначала показались мне потухшими, вдруг озарились странным, каким-то детским, милым светом. Мне захотелось поцеловать ее в лоб. Но я не решился. Тогда она сама поцеловала меня в щеку, как делала когда-то, с улыбкой прощаясь с нами по вечерам.

## «Очищение» американца

Каталина отчасти была виновна в том, что Фермина избили. Он-то не знает, но это она запустила против него машину Кларк — полиция — дубинки.

Она виновница того, что мистер Кларк назвал капитану имя и фамилию Фермина, приказав: «Выдайте ему как следует. Пусть прочувствует. Чтобы до конца дней у него отбило охоту бунтовать».

Так и случилось.

По крайней мере долгие годы нам так казалось. Фермин ушел с работы, даже не взяв расчета, не подав заявления об уходе. И в глубине души Каталина всегда чувствовала, что ответственность за случившееся лежит на ней.

Как-то вечером на пороге ее деревянного домика возникла фигура американца. Он пришел с Гильотом Хапугой и еще с каким-то незнакомым Каталине человеком. Гильот первым

ввалился в дом, потом Каталина пригласила зайти и мистера Кларка. Незнакомец остался на улице рядом с машиной.

— Ката, у янки тут неприятности, и я хочу, чтобы ты ему помогла,— сказал Гильот.

— Женщины?

— Да нет. Испортил отношения с руководством Компании.

— Это меня не касается,— возразила мулатка, отступая к двери.

Гильот удержал ее за руку.

— Это останется между нами. Американцу нужны две вещи: во-первых, очищение — я его убедил, что оно ему нужно, сам-то он в этом ни черта не смыслит...

— А другая?— спросила женщина.

— Узнать.

— Что узнать?

— Узнать, кто тут разводит агитацию и стоит во главе забастовщиков.

— Первое — ладно. Второе — не мое дело.

— Ката, бога ради.

«Ката, бога ради...» Знаешь, Гильот, я людей не стравливаю. Очищение я ему устрою и пусть мотает отсюда.

Они немного поспорили. Стоящий в дверях мистер Кларк, чем-то похожий на восковую куклу, с опаской оглядывал дом. Гильот постепенно повышал плату за «работу». Каталина долго не сдавалась, но все-таки не выдержала. В глазах ее зажегся алчный огонек. Гильот сразу заметил его и спросил:

— Ну, согласна?

— Согласна, — ответила мулатка.

— На то и другое, Ката?

— Ладно, негр, на то и другое.

И «работа» началась. Американец уселся на диван рядом с Гильотом Хапугой. Каталина на несколько минут скрылась во внутренних комнатах, потом вернулась.

— Скажи американцу, пусть сосредоточится на своих проблемах. Он должен помочь мне.

Гильот поговорил с мистером Кларком по-английски. Минуту спустя у Каталины изменился голос; он был похож на шелест

старого дерева, уходящего своими корнями в земные пласты иных эпох. В зрачках женщины сверкнул красный отблеск.

— Саральельео аральео букунеи,— вещала Каталина.— Саральельео, аральео афонфонун ло аньенье ун ло... Авара олакити фомбала...\*

Пританцовывая, нараспев произносила она магические заклинания. Два или три раза повторила одну и ту же фразу, взывая к богу Огуну, моля его снизойти к ним. Мистер Кларк не отрывал глаз от Каталины, явно восхищенный ее пышными формами. Гильот Хапуга бросал на американца довольные взгляды.

Затем Каталина встряхнула и раскинула раковины. Она внимательно вглядывалась в них, словно читая книгу. Гильот сказал по-английски мистеру Кларку: «Каждая раковина означает букву». Американец понимающе кивнул головой.

Каталина подобрала ракушки и, ласково перебирая их пальцами, подержала в ладонях. Потом снова разбросала. Мистер Кларк вопросительно взглянул на Гильота, и тот снова объяснил ему по-английски: «Она должна бросать их несколько раз, пока духи не укажут ей, как нам действовать, чтобы покончить со «злом».

Мистер Кларк снисходительно усмехнулся, словно вся эта церемония лишь развлекала его.

Еще больше он оживился, когда мулатка вдруг вытащила коровий хвост и принялась водить им по костюму американца, страшивая «прах беды». Мулатка причитала:

— Чинима, чинима, ику лесе элерда фунибулье. Чинима, чинима, ику аралье фунибулье. Чинима, чинима энторе арьен фунибулье. Чинима, чинима, офо фунибулье. Чинима, чинима она фунибулье. Чинима, чинима, эчилу фунибулье...

Наконец, оставив в покое пиджак и брюки мистера Кларка, Каталина взяла с полочки три щепки и, перебирая их, стала бормотать:

\* Здесь и далее воспроизводится испанское звучание ритуальных заклинаний африканского бога Огуна, культ которого распространен среди кубинских негров.

— Одна укрощает, другая побеждает, третья ко мне идет. Потом она их тщательно перевязала и спросила у Гильота, как зовут американца. Гильот назвал его имя, и она сердито повторила:

— Мистер Кларк, мистер Кларк, мистер Кларк.

Потом с благоговением возложила связанные щепочки к подножью алтаря.

— Скажи ему, что все его неприятности кончились, все пойдет, как он хочет.

Гильот поднялся.

— Ну а второе, Ката?

— Отложим это на потом, Гильот.

— Нет, американцу надо знать. Скажи.

Каталина на мгновение задумалась, потом прошептала:

— Фермин.

— Фермин,— повторил Гильот, глядя в голубые глаза американца. Мистер Кларк закусил нижнюю губу и быстро, даже не попрощавшись с Каталиной, вышел за дверь. Затем он направился к своей машине. Через несколько минут к нему присоединился Гильот, который немного задержался, рассчитываясь с мулаткой.

На следующий день мистер Кларк вызвал к себе капитана полиции. Он сказал ему: «Его зовут Фермин. Он живет один на улице Магнолии. Выдайте ему как следует. Пусть прочувствует. Чтобы до конца дней отбило у него охоту бунтовать».

Капитан с точностью выполнил приказ американца. Каталина так и не простила Гильоту Хапуге, что он втравил ее в это дело. Она часто упрекала его: «Ты меня заманил в ловушку, заморочил голову своими деньгами. Это из-за тебя я продала Фермина».

## Гильот Хапуга

Волосы черные, рост — 1,71 метра, дважды женат, третий из восьми братьев, имеет любовницу, которая на одиннадцать лет моложе его и живет в квартале Вибора; ни от первого, ни от

второго брака у него нет детей, но в Сан-Хосе-де-лас-Лahas растёт девятилетняя девочка с его глазами. Родилась она, потому что этого захотела ее мать, не сдавшаяся на уговоры Гильота «избавиться от брюха». Он ежемесячно посылает девочке по десять песо, но вот уже семь лет как не видит ее: деньги забирает девочкин дядя, в двадцатых числах каждого месяца он приезжает в Гавану и получает их из рук шофера Гильота.

Из-за венерической болезни, которую он подхватил в восемнадцать лет, у Гильота вечные неприятности с предстательной железой. Кроме того, в ненастные дни у него побаливает левая нога — он был ранен во время одной из забастовок. Сам-то Гильот в ней, разумеется, не участвовал, просто пришел поглазеть, тут его и задела пуля. После этого его имя и фотография появились в газете.

Еще не встав с постели после ранения, он определил свое будущее: политика. На протяжении долгих лет с увлечением и небезуспешно осуществлял он функции политического лидера в собственном квартале. Действовал Гильот хитро, продуманно и ловко и завоевал симпатии многих жителей. Он прибрал к рукам поступления на больницы, стипендии для студентов политехнического института, средства на строительство школьных помещений и еще многое другое, а сам между делом изучал английский язык, который, он знал, ему пригодится в будущем. Время от времени он ездил во Флориду, где скупал подержанные автомобили, и по возвращении в «Habana sity»\* втридорога продавал их.

«У него мозги что надо», — говорили о нем его почитатели. Но были и такие на нашей улице, кто терпеть не мог Гильота. Например, старик Сантамариа. «Пробы на нем негде ставить», — часто повторял он. Но Хапуге до этого дела было мало. Он не обращал на подобные враждебные выпады ни малейшего внимания, и созданная им политическая машина работала с неизменным успехом.

Пришло время, и Гильот вознамерился стать муниципальным советником.

\* Английское название Гаваны.

В результате выборов президенту местной выборной хунты пришлось подать в отставку, а Хапуга прошел в муниципалитет от Кубинской революционной партии.

И с тех пор на протяжении пятнадцати лет Гильота неизменно переизбирали на этот пост. Всякий раз на выборах Компания поддерживала его кандидатуру, но и он, со своей стороны, с лихвой оплачивал эту помощь, оказывая ей немаловажные политические услуги.

Оттуда и пошла его дружба с американцем.

Он даже научился играть в гольф, хотя эта игра была ему совсем не по вкусу. Субботними вечерами вместе с мистером Кларком он ходил в Охотничий клуб, и там за выпивкой, следя за ударами по белым шарам и обмениваясь скабрёзными анекдотами, они разрабатывали свою тактику в отношениях с рабочими.

Из любви к истине нужно сказать, что Гильот Хапуга, при всей своей бесчестности и даже коварстве в делах, держался с женщинами как настоящий мужчина, не был трусом, не пасовал перед Красномордым и ему подобными и заставлял уважать себя. Он не давал волю рукам, по крайней мере на глазах у людей, и никто не видел его вооружённым.

Оружием Гильоту служили его связи с очередным правительством. Своим «влиянием» он пользовался с чрезвычайным тактом. Оказать услугу Гильоту было делом приятным даже для вершителей нашей национальной политики. Не только приятным, но и полезным — ведь Гильот Хапуга держал в руках огромный городской квартал, а кроме того, за его спиной стоял мистер Кларк, американец из Компании.

Однако с красавицей Клаудией ему все-таки не повезло. Чего он ей только не предлагал. В конце концов она содрала с него совершенно бешеную цену.

После этого он ее возненавидел.

Рассказывали несколько случаев из его жизни, свидетельствующих в его пользу. Один с негром Канетом: именно благодаря Гильоту мистер Кларк не уволил «наглеца негра», когда тот схлестнулся с ним в воротах Компании.

Гильот тогда вмешался, и американец дал себя переубедить.

С тех пор каждый раз, когда Гильот приходил в Компанию, Канет вставал, приветствуя его, и они пожимали друг другу руки. «Таких людей, как вы, немного у нас в стране»,— говорил советник высокому негру. Но Канет в душе почему-то не любил Гильота.

## Канет

Канет был загадкой для служащих Компании. Толстый, большой, очень черный, всегда улыбающийся. Когда приезжал патрон, Канет услужливо подбегал к машине и открывал дверцу. Но делал он это только для хозяина кубинца. Дон Рамон ласково похлопывал его по животу и порой оставлял сигару в кармане вахтерской формы негра.

С американским шефом Канет не был столь любезен, мистер Кларк ему не нравился.

За глаза негр честил его на все корки. Ему был противен запах ромового перегара, которым разило от американца, его красный нос с прожилками, его развязность. Как-то они с мистером Кларком крепко поругались, потому что Канет пропустил на территорию человека, который был уволен мистером Кларком. Американец понес Канета на чем свет стоит, а негр ответил ему тем же.

С тех пор они больше не обменялись друг с другом ни единым словом. Эта история завоевала негру симпатию служащих. Но загадка Канета оставалась загадкой. Он любил порядок, а под порядком в те времена подразумевалось следующее: два хозяина — кубинец и американец, запрещение толпиться у входа, запрещение протестовать против вычетов из зарплаты, жестокие репрессии против профсоюзных руководителей во время забастовок, безнаказанность полицейских, всегда выступающих на стороне администрации, и еще многое другое в том же роде.

Таков был порядок, и Канет почитал его.

Кое с кем он водил дружбу, правда с немногими, с теми, например, кто защищал негра, когда того упрекали в излишнем

рвении и называли «сторожевым псом у хозяйских дверей».

Но Канет не был хозяйским холуем. У него были свои идеи, и он умел, когда нужно, высказывать их. Кроме того, он принимал участие в освободительной войне 1895 года, о чем свидетельствовала украшавшая его грудь медаль. Этот негр был одним из людей Кинтина Бандераса\*. Кинтин и привез его сюда, когда, вернув Томасу Эстраде Пальме\*\* взятые займы пять песо, начал зарабатывать себе на жизнь, рекламируя мыло. Кинтин и Канет даже внешне были похожи, они любили повторять, что скроены по одной мерке.

Когда генерал Кинтин Бандерас подходил к воротам завода, Канет вытягивался по стойке «смирно» и брал под козырек. В последний раз он отдал ему честь в тот день, когда Кинтин снова ушел в горы, чтобы пасть там от рук наемных убийц, подосланных доном Томасом. С тех пор Кинтин Бандерас стал для него настоящим кумиром. Он почитал его точно господа бога. Повесил на стену портрет, и под портретом поставил вазочку из дымчатого стекла в форме сердца, и каждое воскресенье менял в ней цветы.

Канет обожал кинофильмы с Хорхе Негрете и, будучи личным другом бейсболиста Сантоса Амаро, болел за его команду «Альмендарес». Иногда он навещал Бальбину. Старуха варила ему кофе, и все у них шло хорошо, пока они не принимались говорить о спорте. Тогда они ругались и Канет убегал, клянясь, что никогда больше не вернется. Только он всегда возвращался.

\* Бандерас Бетанкур Кинтин (1834—1906) — известный кубинский патриот, негр. Сражался в войне за независимость 1868—1878 гг., но особенно отличился в освободительной войне 1895—1898 гг., где дослужился до звания генерала. Когда в 1905 г. президент Кубы Томас Эстрада Пальма, напуганный размахом демократического движения, обратился за помощью к США, Бандерас организовал партизанский отряд и ушел в горы, где и был предательски убит.

\*\* Эстрада Пальма Томас (1835—1910) — кубинский общественный и военный деятель. Один из организаторов движения за независимость против испанского колониального господства. В конце десятилетней войны за независимость 1868—1878 гг. был номинальным президентом Кубы с 1874 по 1877 г. Принимал участие в освободительной войне 1895—1898 гг. и был первым президентом созданной в результате ее республики, официально провозглашенной 20 мая 1902 г.

# Монастырь

По усеянной камнями дороге мы идем в церковь. На ножках дочки Клаудии гольфики с резинками под коленками, отчего ее икры кажутся чуть толще. Она моложе всех нас, но держит себя как взрослая. «Будет хорошенькой», — говорят прихожане. И субботними вечерами птицы, глядящие на наши игры с деревьев, своим пением словно бы подтверждают это пророчество.

Я не знаю, сколько мне лет. Я знаю только, что открыл для себя бога; он перестал быть для меня неуловимой туманностью и превратился в нечто поселившееся в моей груди: я преклоняюсь перед ним и боюсь его.

Я открыл его для себя однажды вечером, когда к нам пришли барышни из монастыря и разговаривали сначала с матерью, а потом со мною. И, начиная с этого момента, на протяжении всего лета я буду ощущать его теплое, успокаивающее присутствие, только ему одному дано быть моим судьей.

Вот мы у портала церкви. Сеньорита Мери выстраивает нас в затылок друг другу. Сейчас мы войдем в храм, слегка преклоним колена, а потом пройдем к скамьям, сядем и оглядимся. Сквозь приоткрытое окно я увижу Магдаленину школу.

Впереди меня — Тыква и один из племянников старика Сантамариа. Позади — Эмилия, Ракель, одна из дочек Марии, Кобель и Маргарито; мы его зовем Маргарита, и похоже, он ничего не имеет против. В другом углу церкви сидят остальные ребята. И среди них Лаура, какая она красивая!

Сеньорита Мери раздает нам листочки с печатным текстом. Желтоватые бумажки с крестом (часто плохо пропечатанным) на самом верху. Мы не понимаем, что там написано, но это говорит бог, а бог у нас в голове и сердце.

Я его чувствую — бог похож на яблоко, он излучает сияние. Чтобы увидеть его, я кошусь влево. Только ничего не вижу. Впрочем, бог — это нечто скрытое у каждого внутри, и увидеть его никому из нас не дано.

Входят еще девочки, и мы делимся на группы. Я хочу быть в той, где Мери. Мне нравятся аромат ее духов, ее гладкие волосы и осиная талия.

*Мери, ты бы должна была быть моей, но для этого ты слишком рано родилась. И даже не только слишком рано, но ты вообще родилась далеко от нашего квартала, и вот теперь во взгляде твоих голубых глаз светится сострадание, а в голосе звучит жалость. Не нравятся мне ни твое сострадание, ни твоя жалость, потому что они ставят под сомнение мое мужское достоинство. Я тебе этого не показываю, иначе ты не позволишь приблизиться к себе. Да простит меня господь*

*Без тебя ни к чему мне этот субботний вечер. И нету смысла в моей жизни, если руки мои не чувствуют тепло твоих рук, ведущих меня по катехизису. Мертвые буквы оживают. Они соскакивают с желтоватого листка и в твоих устах, твоим голосе обретают смысл, я же стараюсь прогнать из головы грешные мысли.*

*Мне вовсе не хочется быть грешником и отправиться в ад. А меня туда, наверное, утащат, и ты будешь в этом виновата. Впрочем, на мне самом тяжкая вина; я виновен в том, что представляю тебя обнаженной под душем, под струями воды, с наслаждением намыливающей груди. И еще виновато твое благоухание. Искушение твоих бедер, колышущих при ходьбе юбку.*

*Только бы Маргарита ничего не заметил, а то он обязательно наябедничает. Он тебе наябедничает, что, когда ты прикасаешься ко мне, у меня щекочет в паху. Я и сам не понимаю, что это такое, но избавиться от этого не могу. Твоя вина, моя Мери, в твоей невинности.*

*Я это знаю. Иначе быть не может. С алтаря на нас смотрит господь. И он, конечно, все знает. Я прямо-таки уверен, что ему ведомо все. Он смотрит на меня с состраданием, и он меня обвиняет. Жаль, что я не могу убаготворить его. Я не хочу смотреть на тебя с вожделением. Но не могу смотреть на тебя иначе.*

## *Каталина*

*Моча уносит с собой зло. Она уносит его в глубь земли. По-*

*мочишься на медный грош, и беда пройдет. Я это по собственному опыту знаю. Мне облепили дверь маисовыми зернами. Я сказала тогда: «Рафаэль, нам хотят причинить зло». Ты рассмеялся. Я-то знала, кто это сделал: ты ей нравишься. Тогда я оросила «зло» мочой. И ничего с нами не случилось. Не исполнилось ее желание, мы с тобой тогда не расстались.*

*Правда и то, что счастье надо заслужить. Когда меньше всего ждешь, открывается дверь и входит в дом дьявол и укладывается в супружескую постель. Муж чувствует, что он лежит между вами, и боится показать, что желает тебя. Ты знаешь, что ему нравишься, но он будто где-то далеко и над ним нависает тень. Эта тень дьявола совсем не похожа на тень, которую бросают волосы женщины на лицо мужчины. Совсем не похожа. Эта тень и есть самое главное зло, от нее пропадает желание.*

## Компарса\*

Первый удар барабана звучит глухо, почти неслышно. Люди пьют, болтают, обмениваются приветствиями, не обращая на него внимания. Потом пальцы начинают отбивать дробь, а ноги шаркать по земляному полу, поднимая клубы пыли. Умолкают голоса, уступая место ритмичным звукам. Песня пробуждает улыбки на лицах мужчин, а плечи девушек мягко и чувственно покачиваются ей в такт.

Кое-кто из негров обут в туфли без задников, а земля надела им на щиколотки пыльные браслеты. На женщинах широкие юбки и плетеные сандалии, одежда их ярка и цветаста. Из рук в руки, от уст к устам переходят бутылки.

От людей исходит терпкий запах. В сумерках кажется, что медленно тонущее за горизонтом огромное оранжевое солнце зажигает пожар на улице. Но сейчас людям не до того, чтобы любоваться закатом. Ноги несут их в противоположную сторо-

\* Группа поющих, танцующих и играющих на музыкальных инструментах людей (чаще негров и мулатов).

ну, к шоссе, лежащему на востоке. Группа танцоров выходит на асфальтовую мостовую, и ступни отбивают ритм ровнее, звонче и дружнее.

Прекращается болтовня, несколько голосов запевают: *«Послушай, братец, не бойся: это скорпион рубит сахарный тростник; рубит тростник скорпион... Таков наш обычай, братец, таков наш обычай, братец...»*

Канет одет рубшиком сахарного тростника. Он выше всех в группе. Сжимая в руке мачете, тот самый, с которым воевал в 1895 году, он дирижирует импровизированным хореографическим ансамблем. Танцевальные па не разучивались заранее, ноги танцоров двигаются сами собой, послушные току их крови. С каждым разом участники компарсы совершенствуют мастерство. Танцоры — свободные художники, они изобретают все новые движения, повороты в одну сторону, повороты в другую сторону, снова повороты и, наконец, прыжки — кульминационный момент, когда, раздвинув ноги ножницами, простерев к небу руки с мачете, они парят, словно птицы, в воздухе. Хор неумолчно повторяет одни и те же слова, напев становится все громче и громче, и, когда голоса мужчин хрипнут от выпитого рома, а языки начинают заплетаться, на первый план выступают женские голоса.

К соломенной шляпе Рябого приколот искусно сделанный скорпион. Блестят в ночной тьме его длинное узкое тельце и растопыренные лапки. Белые обитатели улицы жмутся к стенам домов, толпятся у своих парадных, но их ноги сами собой отбивают ритм. Белых тоже захватывает веселье, но они не решаются присоединиться к компарсе. Некоторые делают вид, что им вовсе не интересно, только это неправда. Звуки компарсы увлекают всех без исключения, и нет человека, который не пританцовывал бы на месте.

*Компарса выходила на улицу, а вместе с ней на улицу выходили и наши предрассудки. При первых же ударах барабана белых вдруг охватывала необъяснимая стыдливость, она сковывала нас, брала за горло. Хоть повязку надевай на глаза. Смотреть на танцующих негров было большим искушением и радостью, которую мы старались почему-то в себе подавить.*

Участвовать в компарсе считалось недостойным белого человека. Одно дело — дружить с неграми, относиться к ним по-добрососедски, даже по-братски в тяжкие минуты. Но совсем иное — прохладной звездной ночью следовать за ними, приплясывая, три шага налево, три шага направо, под звуки песни, смысл которой был для нас темен. Компарса ставила стену между нами. С неграми мы могли выпивать за стойкой бара Эладио, играть в бильярд у Хромого, укреплять двери во время циклонов, но, когда дело доходило до компарсы, само собой возникало некое табу, запрещавшее нам присоединиться к их веселью.

Сейчас то мы понимаем, сколько мы потеряли! Но в те времена каждый карнавал возводил между нами эту стену, которую никто не решался разрушить. Мы все были жертвами предрассудков: и белые и черные. Когда компарса выходила на улицу, мы, белые, переставали существовать для негров. Нам же тоже что-то мешало слиться с веселой ватагой, несколько раз перекатывавшейся по улице из конца в конец. И, хотя наш союз скрепила нищета и объединяла нас общая беда, негритянский карнавал вносил в наши ряды раскол. Все это тянется с колониальных времен. И, хотя негры давно уже не рабы, а мы не хозяева, пережитки оказались очень стойкими. Мы часто любили повторять, подчеркивая нашу общность: «Если в тебе нет крови конголезца, значит, в твоих жилах кровь карабали\*», но слова-то оставались словами.

Мы не шли дальше слов — вот в чем была наша ошибка. За примером недалеко ходить — компарса. В праздничные дни негритянского карнавала мы лишали себя радости, к которой тянулось все наше существо, гасили огонь, тайно пылавший в нашей крови.

На всех нас лежит вина за это. Но мы-то, белые, первыми должны были сообразить, где наше настоящее место; вовсе не там, где нам тогда мерещилось. Мы страшились утратить мнимую привилегию принадлежать к расе господ. Пустая иллюзия, питавшая не менее бесплодные размышления о воз-

\* Племя африканских негров.

*возможности выпить чаю в Кабаре, куда мы иногда контрабандой пробирались. Заблуждение, заставлявшее нас притворяться, что нам нет дела до праздничного шествия негров по улице. Если бы сейчас, когда мы многое поняли, можно было вернуть те времена, все бы пошло по-другому.*

Рябой в шляпе со скорпионом начинает с немислимой быстротой кружиться на месте, другие негры, несущие на шестах фонари, устремляют глаза в небо и тоже кружатся, а пальцы музыкантов того и гляди пробьют кожу барабанов. Шелкая длинным бичом, появляется негр, наряженный надсмотрщиком, он с притворной злобой бьет по спине одного из мачетеро\* Канета, и танец становится еще темпераментней, а песня единодушнее; кажется, она зарождается там, внизу, у подошв альпаргат, ботинок и плетеных сандалий, поднимается вверх по телам танцоров, заполняет их целиком, сочится из всех пор, сливая их всех в единое целое. Компарса движется куда глаза глядят, танцоры безотчетно повторяют движения ведущего, всецело отдавшись ритму музыки.

Мы, белые, смотрим на них немного растерянно, полные восхищения и зависти. Компарса того и гляди увлечет нас за собой, но мы упорно сопротивляемся. Танцоры взмокли от пота, и его запах вытесняет аромат гуайавы, наполняющий улицу. Пот льет ручьями, словно небо вдруг окатило их ливнем; крупные маслянистые капли стекают на блузы и рубашки. Но они поют неумоимо и самозабвенно, эти одержимые музыкой божьи создания. Все вечера и все ночи, пока длится компарса, улица во власти негров, мы, белые, на ней чужаки.

## Тыква

*Улица научила нас неписаному закону: быть Мужчиной. Быть им всегда и во всем; Мужчина — это крутой характер, грубые слова и резкие жесты, фанатичная любовь к матери, связь*

\* Рубщик сахарного тростника.

*с женщиной, и не с одной, неизменная готовность пригубить стаканчик, презрение к трусу и снисхождение к укравшему из нужды, страх (пожалуйста, не путать с уважением) перед полицейской формой, пренебрежение к судебным органам, насмешливое безразличие к гомосексуалистам, привычка не есть досыта, убежденность в том, что Политическая Карьера почетней Карьеры Чиновника и Профессия Политика много лучше Профессии Плотника.*

*Улица — наши Университеты.*

*На ней мы прошли полный курс наук и получили звание Мужчин и Бедняков.*

*Все, кроме одного. Один оказался предателем: Тыква.*

## Рябой

На задворках старого деревянного дома у нас на улице издавна ютится школа карманников. Учитель здесь только один — Рябой. Она работает от шести до восьми вечера. Один за другим тянутся в нее ученики и, прежде чем войти, осторожно оглядываются по сторонам. 501-й и 321-й об этом знают и в этот час патрулируют другой конец улицы.

Рябой ежедневно платит каждому из полицейских по одному песо. В двенадцать дня свою мзду получает 321-й, в полночь за ней приходит 502-й. Плату передает смуглая дрожащая ручка Ньики, матери Рябого. И песо почему-то всегда пахнет салом.

Рябой производит переключку по памяти:

- Задница!
- Здесь!
- Тыква!
- Здесь!
- Огурец!
- Здесь!
- Мушкет!
- Здесь!
- Треска!

— Здесь!

— Панчо Кокос!

— Здесь!

— Размазня!

— Здесь!

Он никогда не берет больше семи учеников. Каждые полгода их состав меняется. Обучив одних, он набирает других. Выпускную речь держит Ньика. «На кого работает хороший сын? На свою мать. Сын принадлежит матери, а не отцу. Если отцу нужен сын, пусть сам и родит его. Выучившись этому новому для вас делу, часть того, что заработаете, вы принесете своим матерям. Не огорчайте их. Работайте осмотрительно, терпеливо, не торопитесь. Не проходит дня, чтобы на улицу не вышел какой-нибудь дурак. Нужно только уметь отыскать его — вот в чем секрет. Дурака распознать легко: он то и дело хватается за карман, озирается по сторонам и пересчитывает деньги. При таком деле, как у нас, кормит улица. Главное, не попасть на Холм\*. Хорошо поработаешь, так и жить будешь хорошо. Только нужно держать ухо востро. Можете мне поверить, нет для матери хуже наказания, чем знать, что ее сын сидит там, наверху, за решеткой. Холм — он высокий, бывало, из сил выбьешься, пока на него взберешься в воскресенье. Один раз и мой сын попался. Я пришла к нему туда, и спросите-ка у него самого, что я ему тогда сказала? «Дерьмо!» Да, я его так назвала. Потому что в нашем деле зевать не приходится. Потом-то его выпустили, и вот теперь он вас учит. Берите с него пример. Ну — в добрый час!»

Окончившие курс ученики смотрят на свои руки и пощелкивают длинными, специально отпущенными ногтями. Пальцы нервно сплетаются и расплетаются; кажется, они так и жаждут чужих карманов, чтобы на практике проверить, хорошо ли усвоена наука.

Тут же валяется большая, вся увешанная бубенчиками кукла. Курс обучения состоит в том, чтобы без единого звончка на-

\* До победы кубинской Революции на Холме находилась тюрьма для уголовных преступников.

учиться вытаскивать у нее из кармана бумажник. Это трудно. Рябой-то, конечно, умеет, правда, молва приписывает это его необычайным физическим свойствам. У него такие мягкие, узкие и гибкие руки, что он может, не задев остальных пальцев, скрестить указательный с мизинцем.

Попробуйте-ка сами это проделать.

## Лаура (I)

*В ненастные дни Лаурой всегда овладевал страх. Ее пугала гроза.*

*Она затыкала уши и забивалась в постель. Время от времени золотится головка, словно молния сверкала из-под подушки. Это Лаура, собравшись с духом, решалась посмотреть, не прояснилась ли погода. Но вот снова раздавался удар грома, она опять прятала голову под подушку, а ее озябшие ножки, которые мне так нравились еще со времени нашей учебы в колледже Магдалены, старались поглубже зарыться в покрывало с большими красными цветами.*

*Каталина говорила, что Лауру сотворили из шкуры козленка, потому что дождливыми днями ее трясло.*

*Честное слово, это неправда; она была соткана из линий, словно оживший рисунок.*

*Никогда мне не забыть ее мертвую, вытянувшуюся во весь рост на кровати.*

*Она мертва, и пальцы ее окостенелых ножек смотрят в деревянный потолок. А рядом ее старики; две пары черных, воспаленных, сухих глаз. Потому что мать не пролила ни слезинки, да и старик не оплакивал дочь. Он словно окаменел.*

*Девочку одели во все белое, скрестили ей на груди руки и закрыли испуганные глаза. До следующего утра продолжалось бдение над телом.*

*Потом мы проводили ее.*

*Когда последний ком земли упал на могилу, отозвавшись ударом грома у нас в ушах, мой отец поблагодарил*

*присутствующих за то, что они пришли. Он сказал еще несколько прощальных слов, каких, я сейчас уже не помню. Но и тогда глаза стариков остались сухими.*

*Потихонечку, один за другим, словно боясь разбудить ее, мы ушли.*

## Лаура (II)

Потом Лаурой тоже стали пугать, как пугали Фермином и его овчарками. «Вот умрешь, как Лаура,— грозили матери,— от голода». Но в их голосе при этом слышалось сострадание: они произносили «Лаура», и у них от жалости перехватывало горло. Эту грустную историю не раз обсуждали в супружеских постелях, когда дети засыпали и воцарялось молчание. Впрочем, потом супруги занимались любовью и забывали про Лауру.

Но я не забывал ее.

Мы оба — она и я — открыли, что мне нравятся ее ножки. Я не знаю, как она об этом догадалась, может, взгляд меня выдал. Они мне и правда очень нравились. Это были самые чистенькие ножки на всей нашей улице. Они кончались десятью красивыми пальчиками с десятью розовыми ноготками. Я придумал имя для каждого из них: слева направо, начиная с левой ножки, я их окрестил.

Первый: Мальчик с пальчик.

Второй: Лучшенький.

Третий: Великолепный.

Четвертый: Красавчик.

Пятый: Толстяк Первый.

Шестой: Толстяк Второй.

Седьмой: Прекрасный.

Восьмой: Белоснежка.

Девятый: Фигурка.

Десятый: Потерянный.

Я рассказал ей об этом, и она засмеялась. Сказала мне, что я сошел с ума. А я ответил ей, что, если она меня поцелует, я придумаю имя и для поцелуя. Но Лаура повернулась

ко мне спиной и побежала по улочке Сан-Ансельмо к своему дому, грозя, что пожалуется отцу. Только она не пожаловалась.

А я два дня прятался.

Притворился больным и провалялся в постели. Через два дня я «почувствовал себя лучше» и пошел в школу. Лаура, как всегда, сидела за своей партой, спрятав ножки под стул. Я взглянул на нее, и она мне улыбнулась.

После уроков мы решили стать женихом и невестой.

Эта помолвка длится и по сегодняшний день, ведь ни один из нас не возвращал другому слова.

Она умерла от голода. Да, сеньор. Отца ее прогнали с работы, и на кухне у них по нескольку дней подряд даже не разжигали плиту. Мать, глядя с отчаянием, как угасает ее девочка, умоляла мужа любым способом добыть еду, украсть, если нет другого выхода. Но старик надеялся выкарабкаться, не поступаясь своей честью.

И это стремление любой ценой сохранить репутацию честного человека не послужило к его чести и обернулось самым большим несчастьем в его жизни.

Он видел, как девочка тает день ото дня, но у него не хватило смелости раздобыть оружие и напасть на первый же белый чесучовый костюм, повстречавшийся на улице. В карманах таких костюмов всегда водились деньги.

Ни во время бдения над телом дочери, ни на кладбище старики не пролили ни слезинки. Они только молча, не отрываясь смотрели на маленькое мертвое личико. А возвратившись домой, оба покончили с собой.

## «Клан» Сантамариа

Рассказывали трагикомическую историю любви старика Сантамариа к звезде кабаре «Марти» Маргосите. Сам-то старик предпочитал помалкивать, но что он мог поделать, если соседи по вечерам часами перемывали ему косточки.

Старик об этом знал, и, хотя сплетни были ему неприятны, втайне этот роман с Маргоситой был предметом его гордости.

Роман длился целый год. Познакомились они, когда старик Сантамариа был еще юношей, а Маргосита девятью годами старше его. В то время она сводила с ума ночную Гавану своим исполнением песенки «Та, кому хорошо платят» в кабаре «Марти».

Они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Юный Сантамариа посылал Маргосите цветы, сопровождаемые надушенными открытками, которые он подписывал всегда одинаково: «Твой Сантамариа», а актриса дарила ему галстуки и карманные часы; к подаркам прикалывалась синяя, тоже надушенная, записочка с подписью «Маргот Каррилес (Маргосита)».

Покуда семья не познакомилась с девушкой, эта любовь развивалась под покровительством и при поддержке всего клана: родным льстила популярность, которую имя Сантамариа благодаря этой связи завоевало в квартале.

Но в тот день, когда влюбленные в машине «форд», модель 27 года, прибыли на улицу Магнолии, они подписали своей любви смертный приговор.

Сантамариа всегда очень считался с мнением своего семейства. У него не достало смелости бросить вызов всему родовому гнезду, единодушно осудившему Маргоситу за независимые взгляды, непочтительное обращение и вызывающее поведение, которое выражалось в том, что она коротко подстригала свои черные волосы и курила сигареты через длинный мундштук.

Родным достаточно было лишь взглянуть на нее, чтобы вынести суровый приговор.

Сантамариа не стал оспаривать решение семейного совета, требовавшее от него разрыва с актрисой, дабы не ронять чести фамилии. Не говоря ни слова, он заперся у себя в комнате.

Там он провел ночь за следующим письмом:

«Сеньорита Маргот Каррилес (Маргосита)!

Подписывающий это письмо никогда не любил никакой другой женщины. С Вами он узнал любовь и иной мир, отличный от того, в котором он живет, то есть я живу. Всю мою жизнь я мечтал о чем-то подобном.

И сейчас, когда я достиг того, о чем мечтал, я вынужден

от всего отказаться. Я не Вас отвергаю, я просто знаю, что не смогу пойти против единодушного мнения семьи, считающей женитьбу на Вас безумием с моей стороны. Они приняли окончательное решение, и я покоряюсь ему: мы должны разлучиться.

Подумайте хорошенько, и Вы меня поймете. Мое единственное богатство — мое имя: я должен охранить его от сплетен всяких ничтожеств, которые осуждают Вас за Вашу профессию и немного за Ваши манеры. Не питайте ко мне ненависти и помните обо мне. Думайте обо мне как о человеке, который сложил оружие перед своим кланом, но не считайте меня трусом. Я не трус, Маргосита.

Вместе с этим письмом я возвращаю Вам три галстука производства «Мьерес» и прекрасные карманные часы марки «Хувения» еще в хорошем состоянии. Оставляю себе на память о Вас только Вашу фотографию, снятую на Марсовой площади, она пребудет со мною, пока я жив.

Жалко, что ничего у нас не вышло. Если бы я носил другую фамилию или у Вас была бы другая профессия, все бы было по-другому. Но ни Вам, ни мне не дано изменить течение жизни: Вы — прирожденная актриса, а меня зовут Сантамариа, тут уже ничего не поделаешь.

От души желаю Вам всего наилучшего и прошу об одном — не пытайтесь заставить меня изменить решение. Оно окончательно и неизменно. Всегда, всегда, всегда Ваш

Сантамариа».

Говорят, что Маргосита, получив письмо, сначала захохотала, потом заплакала и в конце концов провела ночь в апартаментах алькальда Гаваны, уступив его давним домогательствам, которые до этого отвергала.

Ровно через неделю она уехала с Кубы, чтобы совершить триумфальное турне по Центральной Америке.

Больше о ней никогда ничего не слыхали.

И вот с этой историей за плечами старик, бывший тогда молодым, начал работать в Компании. Болтали, что у него испортился характер.

Только это не так. Характер у старика всегда был крепкий. Он не устоял лишь перед натиском семьи. А Компании так и не удалось его сломить, авторитет Сантамариа был столь велик, что его не решались уволить.

Один за всех нас он отдавал Фермину нечто вроде долга чести. В течение многих лет, пока служили ноги, он ходил в монастырский сад и стучал в дверь бою. Фермин открывал ему, и они целое утро беседовали.

Правда, это случалось один-два раза в пять лет.

Так и не оправившись от смертельного удара судьбы, разлучившего его с Маргоситой, старик на всю жизнь остался холостяком. Он жил со своими сестрами; смерть уносила их одну за другой, и он становился все более одиноким. Но Сантамариа не утратил веры в справедливость, и мы восхищались тем, как он умел противостоять злу и несправедливости. Всякий раз в трудную минуту он был с теми, кто боролся за правду, в этих случаях его не приходилось звать дважды.

Слава мужчины, удачливого с женщинами, шла за ним до самой старости. В жизни у него было два близких друга: Фермин и Вегита. Дружба с Фермином выдержала испытание долгой разлукой; с Вегитой связь была более постоянной и, как болтал народ, подкреплялась общими интересами: у него и Вегиты были в другом квартале одни и те же «подружки»--- мать и дочь. Впрочем, толком никто ничего не знал.

## Вегита

Того, кто идет впереди, зовут Вегита. В прошлом Вегита выступал как боксер-любитель на ринге в Серро Карденеи, у него проломлена переносица. Родился он не на нашей улице, но вот уже несколько лет живет здесь. Походка у него подпрыгивающая, словно гвоздики, которыми подбиты подметки его двухцветных башмаков, вонзаются ему в пятки. Он любит женщин, ему нравится смотреть кинофильмы про боксеров и забивать «козла», особенно двое на двое. Это ему кажется более увлекательным, потому что здесь многое зависит от удачи.

В больших партиях, где каждый играет за себя, он слабее.

И это, пожалуй, единственный случай, когда он проявляет слабость. (Старик Сантамариа всегда у него выигрывает.) Но в остальном Вегита неизменно напорист и подвижен, словно ртуть; защите он предпочитает нападение.

Вот и сейчас Вегита впереди. Он всегда хочет быть впереди. Кончиками пальцев он придерживает край материи, на которой выведено: **ТРЕБУЕМ ПЛАТЫ ЗА ПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ**. Другой конец ткани держит Привидение. Привидение — прозвище двух братьев. Чтобы различить их, младшего называют Привиденьице. Беднякам нравятся ласкательные имена с уменьшительными суффиксами: Вегита, Фантасмита\*, Рамирито, Хулито. Богачи же, напротив, для пущей важности любят прибавлять к своему имени «дон»: дон Рамон, дон Мануэль, дон Мигель. А Вегита ничего не имеет против того, чтобы его называли просто Вегитой.

Демонстрация идет по улицам, и жители квартала, столпившиеся на Прадо, кричат: «Вегита, Рамирито, Привиденьице!» — все они идут в один ряд под одним лозунгом.

Сегодня эта фотография уже пожелтела. У Бальбины дрожат руки, когда она подносит ее совсем близко к глазам, чтобы хорошенько рассмотреть: у нее катаракта. Видит она только какие-то расплывчатые фигуры, но ее длинный палец не ошибается. «Погляди только на этого вонючего козла. Вечно он лезет во всякую заваруху». Она показывает на того, кто идет впереди. На Вегиту.

## Признание Каталины

Первого декабря 1949 года под воздействием доброй выпивки Каталина поведала старику Сантамариа свой профессиональный секрет. «Я знаюсь со святыми и духами. Что есть, то есть. Но очень часто я обхожусь без этого».

Потом она рассмеялась, хлебнула пальмового рома и расска-

\* Привиденьице (*исп.*).

зала: «У Рябого, сына Ньики, однажды за ночь на руках выступили бородавки. Она привела его ко мне: «Ката, ты же знаешь, сын у меня артист, руки его кормят, вылечи его». Я подумала, подумала и решила: «Это нервы. Тут святые, да простит меня господь, нам ни к чему». Беру его за руку и отвечаю ей: «Ньика, приведи его мне сегодня вечером, я приготовлю снадобье». Помереть мне на этом самом месте, если вру, старик. И знаешь, что я сделала? Когда они вернулись, я сказала старухе, что собираюсь вылечить Рябого «водами». Я приготовила голубую воду и дала им: «Если за пятнадцать дней голубая вода не сведет тебе эти бородавки, я приготовлю желтую». Парень пошел домой, а через неделю старуха прибежала ко мне: «Ката, ты прямо святая, ты творишь чудеса». Она дала мне два песо и сказала, что бородавки у Рябого свелись начисто. И знаешь, что его вылечило? Внушение!»

Голова у нее кружится, и, когда старик Сантамариа собирается снова наполнить ей рюмку, она хочет вроде бы отказаться: «Нет, хватит», но не произносит этих слов. Берет рюмку и залпом глотает прозрачную жидкость, которая согревает грудь и развязывает язык...

## Заметки, подводющие итог десятилетию (1939—1949)

1. **ФЕРМИН.** За десять с лишним лет, проведенных в монастыре, где он выращивал цветы, занимался пальмовыми посадками и обрабатывал сухую землю, его образ потускнел в народной памяти, хранившей его долгое время как символ сопротивления.

Его существование в окружении немецких овчарок тоже как бы символизировало нашу жизнь в те времена: жизнь среди оскаленных морд и лязга зубов с одним стремлением — не дать себя загрызть.

Из своего бою, ставшего для него единственным прибежищем, Фермин наблюдал смену одного десятилетия другим, охваченный тоской по родной улице. Он никогда не смотрелся

в зеркало, не желая видеть свое изрытое морщинами лицо, над которым одержали верх прожитые годы.

2. КАТАЛИНА. Встретила наступление пятидесятих годов возросшим престижем, корни которого крылись в наших суевериях и фанатизме. Люди питали кое-какие сомнения насчет всевластия Каталины, но не решались высказать их вслух. В трудные моменты — будь то забастовка, развод, болезнь ребенка, увольнение с работы — соседи бежали к ней. Каталина не без тайного удовлетворения встречала их. Давала консультации и советы. Ее спальня и маленькая зала потихоньку заполнялись разными электрическими приборами. Из своего общения со святыми она извлекала немалую прибыль.

Единственным большим несчастьем ее жизни стал уход Рафаэля. Она оплакала его, словно умершего, однако не захотела насыпать на него зло, хотя и не простила. Каталина была уверена, что в один прекрасный день он вернется.

Она вошла в пятидесятые годы в расцвете сил, законно гордясь своим авторитетом среди соседей и влиянием на судьбы улицы Магнолии.

3. НАШ МАЛЕНЬКИЙ КОЛЛЕДЖ. Закончил свое существование. Отец Магдалены откупил помещение, и там устроили механическую мастерскую. В старом сундучке, стоявшем под кроватью Магдалены, моль устроила себе великолепное пиршество из наших букварей. И первой жертвой этих прожорливых насекомых стал большой черный крест над именем Христа на первой странице букваря.

Магдалена вышла замуж, и у нее родились две дочери.

Она встретила смену сороковых годов пятидесятыми в растерянности и унынии. В растерянность и уныние ее повергло распоряжение властей заниматься с детьми по учебникам, принадлежавшим перу некоего министра, который прославился тем, что набил себе карманы с помощью операции под названием «школьные завтраки».

4. ЛАУРА. Где бы ты ни была после смерти, Лаура, тебе должно быть страшно, ведь все осталось по-старому.

5. КАНЕТ. Он по-прежнему сидит у входа на территорию Компании и безучастно наблюдает, как все больше обманы-

вает его ожидания та республика, за которую он боролся. Он не жалеет, что принимал участие в этой борьбе, но теперь полностью отстранился от какой-либо политической деятельности. Можно сказать, что все эти годы Канет просто-напросто прозябал. Он ждал наступления пятидесятых, преследуемый навязчивой идеей, что не переживет их.

И он не ошибся: Канет умер 9 марта 1952 года. Если бы он прожил еще один день, то умер бы от негодования\*.

6. **МОНАСТЫРЬ.** Разросся. Стал еще более неприступным, его двери открыты лишь для избранных. Нам только издали удастся взглянуть на благотворительные базары, которые время от времени там устраиваются. Дочери офицеров генерального штаба с презрением и с опаской смотрят на нас из окон второго этажа.

7. **ТЫКВА.** Четвертого января 1951 года ему исполнилось тринадцать лет. С тех пор он стал доставлять всем много хлопот.

8. **РЯБОЙ.** Воспитал целое поколение карманников. По смерти Ньики Рябой потерял веру в себя и в жизнь. Разогнал учеников, закрыл школу и на автобусе номер семь отправился в Которро.

В тот же день он засыпался. Ходят слухи, что в тюрьме на Холме он кого-то убил. Рябой больше не вернулся на нашу улицу. Из нас только один жалел о нем — Тыква. В раннем детстве Тыква был его учеником, но из любви к истине следует заметить, что Тыква прошел курс обучения у Рябого ради «спортивного интереса». Он никогда не воровал.

9. **ВЕГИТА.** Преждевременно постарел. Потолстел и движется по замкнутому кругу: из дома на работу, с работы — домой. Он разочаровался в профсоюзной деятельности, хотя, как и прежде, настроен враждебно по отношению к хозяевам.

Вместе с моим отцом участвовал в забастовке 1951 года, был ранен.

Больше из дома не выходил до тех пор, пока его, сраженного

\* 10 марта 1952 г. в результате государственного переворота президентом Кубы стал Фульхенсио Батиста.

инфарктом, не вынесли оттуда на носилках. Мы посетили его в больнице. Он сказал нам: «Мы, старики, начинаем уходить. Вы должны добиться большего. Нам не удалось одержать победу, но мы открыли вам дорогу. Будьте мужчинами и боритесь, этот мир нужно перевернуть».

В один из дней 1955 года, сжимая руку своей последней жены, он умер.

10. **МИСТЕР КЛАРК.** Встретил пришествие пятидесятих годов, как всегда, улыбаясь, ничто его не коснулось: словно в недосыгаемом святилище, сокрылся он за дверьми своей конторы.

11. **СТАРИК САНТАМАРИА.** Всю жизнь не мог забыть свою несчастную любовь, не переставал любить Маргоситу и на расстоянии. К пятидесятым годам сильно сдал.

Будучи уже стариком, Сантамариа принялся писать стихи. Он собрал их в альбом, который обернул в обложку от иллюстрированного журнала. На титульном листе стояло: «Признания».

12. **ГИЛЬОТ ХАПУГА.** Пятидесятые годы посеребрили ему виски, избородили щеки морщинами. Но неугомонный Хапуга по-прежнему злоупотреблял духами, был охотником до женщин и сеял вокруг себя добро и зло попеременно.

Государственный переворот отнюдь не повредил его карьере. В то утро он сказал шоферу: «Правь к генштабу». Представился генералу, принес присягу и стал проводником и рупором официальной политики среди жителей улицы Магнолии.

Только он теперь руководил нами издали, так как, разбогатевав, перебрался в Мирамар. Нюх ему не изменял и впредь: после ноябрьских выборов 1958 года\* он уехал в Майами. Там его и застала победа Революции.

13. **МОЛОДЕЖЬ.** В желудках — постоянный голод, в карманах прогрызла дыры нищета. Это нам помогло понять что к чему. К марту 1952 года нам в среднем было по четырнадцать лет. При диктатуре у нас выступили отроческие прыщики на

\* На ноябрьских выборах 1958 г. — уже в разгар революционного движения — Фульхенсио Батиста был переизбран президентом Кубы.

лицах и мы выкурили свою первую сигарету.

Диктатура научила нас любви и ненависти. В атмосфере насилия и репрессий прожили мы наше детство и оказались на пороге юности. Мы поняли: чтобы стать свободными людьми, надо поставить на карту многое, может быть собственную жизнь.

Мы так и сделали и, право же, не пожалели об этом.

## Несчастье

Грохот взрыва из конца в конец прокатывается по улице. Мы застываем на тротуарах, выглядываем из окон, дверей, с чердаков. Отовсюду высыпают люди. Как всегда, когда что-нибудь случается, вся улица взбудоражена. Словно рушится мир. Толпа смотрит в одном направлении, туда, где находится территория Компании, откуда донесся грохот. Потом все пускаются бежать. Люди в панике, кровь стучит в висках, сердце колотится с такой силой, что того и гляди вырвется из груди и выскочит через открытый рот. Я тоже бегу, не обращая внимания на мать, которая пытается задержать меня. Там, на другом конце улицы, на территории Компании мой отец, он наверняка оглушен взрывом. «Оглушен или убит?» На бегу восстанавливаю в памяти картину сегодняшнего утра. Отец встал в шесть. Прошел в ванную, потом вышел с полотенцем на шее, с мокрыми волосами и не отошедшими от сна глазами. Причесался перед зеркалом. В потемках, еще в майке вошел ко мне в комнату, наклонился, поцеловал меня и на цыпочках вышел. Пошарил за дверью и снял с вешалки свою рабочую рубашку. Понюхал ее под мышками, надел и завязал полы узлом над пряжкой кожаного ремня. «Оглушен или убит?» — снова мелькает мысль. Нет, нет, я не должен об этом думать. Пусть оглушен,

куда ни шло, только бы не убит. Мы ведь без него не можем. Семье, улице, людям -- всем нужно, чтобы он был жив. Он должен остаться живым, полным сил, энергии, бодрости, должен бороться, спорить, любить, помогать другим, заботиться о нашей улице, обозначенной на плане Гаваны лишь двумя параллельными черточками. Может, в мире никому нет дела до нашей Магнолии, но для меня она — начало и конец мироздания. Так думаю я, выбегая на шоссе.

— Взорвался котел,— говорит кто-то.

Я поднимаю взгляд на верхние этажи здания Компании. На миг из окна показывается язычок пламени и тут же исчезает. За ним вырывается клуб черного, густого, зловещего дыма. Из этого мрачного облака опять высовываются розоватые щупальца, на которые сразу направляется множество испуганных глаз и дрожащих пальцев. Я снова пускаюсь бежать. «Оглушен или убит?» Вопрос мелькает в голове и исчезает. Я с трудом прорываюсь сквозь плотную стену людей, окруживших место, где разворачиваются события. У этих нет там своего старика. Впрочем, скорее всего есть. Наверняка у большинства есть. Но они -- другое дело. Ни у кого нет там такого старика, как мой старик.

Пробившись к решетке, я вижу, что сторожа запирают ворота. Канет замечает меня, и я кричу ему: «А мой отец, Канет?» Я не разбираю ответа. Похоже, он велит мне идти домой; можно лишь догадаться об этом по притворно сердитому взмаху его руки. Он поворачивается ко мне спиной и исчезает в одном из дворикув. И тут пространство содрогается от второго взрыва. Взрывной волной меня швыряет на мостовую. Я сильно ударяюсь обо что-то правым плечом, прижимаюсь лицом к асфальту, стараюсь занять как можно меньше места, свертываюсь клубочком, втягиваю голову в плечи. Мне страшно взглянуть вверх. Кажется, что здание сейчас обрушится на меня. Проходит минута — целая вечность. Я опираюсь ладонями о скользкий асфальт и чувствую, как резкая боль пронзает правое плечо. Понемногу прихожу в себя, поднимаюсь, внимательно оглядываю себя. Мне

страшно, я уверен, что в лучшем случае потерял ногу. На самом деле я стою на двух ногах, мой страх нелеп и смешон, но он сковывает меня, и приходится сделать над собой усилие, чтобы посмотреть вниз и с облегчением обнаружить там, на обычном месте, два коричневых мокалина с моими ногами внутри. Да, у меня есть ноги. От радости, мгновенно охватившей меня, кружится голова. Затем я снова вцепляюсь в решетку... люди бегут, суетятся, слышны отчаянные вопли женщин, мужчины возмущаются, а надо всем этим по-прежнему возвышается мрачный прямоугольник здания Компании, похожий на каменный призрак огромного динозавра.

*Этот взрыв стал как бы предтечей катастрофы, которая произошла много лет спустя. Однако события на территории Компании можно считать несчастным случаем, в то время как взрыв корабля «Ля Кубр» был диверсией\*. Но результаты этих двух несчастий на редкость схожи. В обоих случаях гибнут бедняки.*

*При пожаре в Компании, так же как при взрыве на пароходе «Ля Кубр», погибли люди, принадлежавшие к одним и тем же социальным слоям. И у тех и у других задубелые ладони и сожженные солнцем руки. Тронутые сединой волосы на голове и груди, усы с проседью. В одном ритме бились их сердца, схоже было выражение глаз. Они носили рабочую одежду и никогда не играли в гольф. Я в этом уверен. Мне не нужно доказательств. Наверняка есть семьи, в которых отцы погибли во время взрыва в Компании, а сыновья расстались с жизнью на палубе «Ля Кубра». Собственно говоря, чему ж тут удивляться? И по сей день бедняки погибают первыми.*

*ОНИ нам подарили эту привилегию. Необязательно называть КОНКРЕТНЫЕ ИМЕНА. Мы, бедняки, в любом уголке мира узнаем друг друга. Но ИХ мы тоже узнаем, а ОНИ, в свою очередь, узнают нас. Мы стоим друг против друга, и между нами пролегла пропасть.*

\* Бельгийский корабль «Ля Кубр», прибывший в гаванский порт с грузом оружия, закупленного кубинским революционным правительством в 1960 г., был взорван в результате контрреволюционной диверсии.

*Долгие годы ОНИ были лишь далекими, холодными, равнодушными очевидцами того, как мы опускаем тела Наших погибших в Наши могилы. Могилы, которые мы копаем сами. Мы предпочитаем сами хоронить своих мертвецов. Они сами не копают. ОНИ страшатся даже этого. ОНИ посылают за нами, чтобы мы хоронили их близких. ОНИ бросают нам деньги и уходят прочь, оставляя на могилах цветы, которые вырастили мы. Все делается нашими руками, руками бедняков. С тех пор, как стоит мир...*

«Оглушен или убит?»— снова спрашиваю я себя. Я возвращаюсь к воротам Компании и снова вижу Канета. Он и еще двое несут человека. Неподвижное тело обмякло у них на руках, лицо обезображено. Вслед за ними вьется ручеек крови. Толпа неровно расступается, открывая проход шириною метра в два, чтобы человека могли донести до машины на противоположной стороне улицы. Из выхлопной трубы автомобиля вырываются клубы белого дыма. «Масло загорелось»,— мелькает в голове ненужная мысль.

Потом я замечаю, что взрывом повалило решетку, и вбегаю на территорию Компании. Мне она хорошо знакома. Я не раз приходил сюда, был здесь вместе с другими ребятами из нашего класса, когда отмечалась Неделя ребенка. С приятным чувством превосходства я шествовал впереди и давал объяснения, как свой, приветствуя каждого встречного, нимало не обескураженный тем, что многие почему-то называли меня Манолито, хотя я ношу совсем другое имя.

Я бегу к лестнице слева от входа и взлетаю на первый этаж. Навстречу мне попадается Вегита. Он несет на плече раненого. Его фартук в крови, а лицо покрыто копотью. «А где мой старик, Вегита?»— спрашиваю я. «Там, наверху». Я не могу сдвинуться с места, словно у меня отнялись ноги. Вегита делает несколько шагов, тоже останавливается, поворачивает голову в мою сторону. «Иди домой!»— кричит он. Один из рабочих берет меня за плечо, и я снова ощущаю в нем режущую боль. Однако мне удастся ускользнуть. Рабочий бежит за мной. Я вьюсь между формами для мыла, натыкаюсь на что-то, расшибаю коленку. Рабочий бежит

тяжело, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, избегая резких поворотов. Поэтому я легко обгоняю его, прыгаю, качусь, скольжу по грязному полу и выскакиваю на лестницу.

Сверху ползет густой черный дым и доносится потрескивание, словно горит сухая солома. Я поднимаюсь на три ступеньки и вижу ноги спускающегося человека. Это ноги моего отца. Я бы узнал их из тысяч и тысяч других. Весь в слезах, я бросаюсь к нему. Потом его белым, закопченным, пахнущим рыбьим жиром пуловером вытираю глаза. Он берет меня на руки, и мы выходим на улицу.

«Сколько погибло?» — спрашивают его. Он поднимает вверх два пальца левой руки: «Двое». Кто-то, рыдая словно ребенок, падает на колени. Это старик, потерявший сына. Мы идем домой, отец держит меня на руках. Мать, увидя нас, плачет, грозит мне и жалуется на меня отцу. Старик не обращает на нее внимания. Он садится на краешек кровати и сжимает голову руками. Я знаю, он тоже плачет, но не решаюсь подойти к нему. Я смотрю на него из другого конца комнаты, и слезы катятся у меня по лицу. Потом отец поднимается и ищет листок белой бумаги. «Ты куда?» — спрашиваю я его. «Пойду собирать деньги». Первый дом, куда он заходит, — это дом Бальбины.

## О собаке, в честь которой назвали сквер

Однажды на Магнолию пришел человек с треножником, сделал замеры и ушел, не сказав ни с кем ни слова; мы все, тоже молча, следовали за ним по пятам и услышали, как он диктовал своему напарнику несколько цифр. Потом мы долго спорили, как называется тот аппарат на трех ножках, с квадратной коробочкой и двумя линзами, через которые он смотрел куда-то вдаль.

Никто из нас не знал этого.

Чудно, но почему-то Бродяга не залаял. Он вел себя так, будто все происходящее — обычное дело и ему прекрасно известно, что будет дальше. Бродяга не лаял и даже не вилял

хвостом, с подозрительным равнодушием сидя в кружевной тени единственного растущего на заброшенном пустыре райского дерева.

Потом мы об этом забыли. Снова обсуждали смерть Лауры, болтали про Клаудиу, вспоминали взрыв в Компании, от которого погибли два человека, советовались, как лучше обмануть овчарок Фермина и своровать в монастырском саду немного цветов для семейных алтарей, говорили о карнавале и, конечно же, о том, как хороша сеньорита Мери.

Дружно смеялись над белыми костюмчиками для церемонии первого причастия. Бог исчез, испарился из памяти. Он уже не представлялся мне чудесным яблоком, от которого исходило сказочное сияние. Он затерялся где-то на путях минувшего, среди воспоминаний об одном лете, на смену которому пришли иные времена года, заставившие потускнеть старые воспоминания.

Моим божеством теперь стала белая, в голубых прожилках, нежная плоть сеньориты Мери. Кажется, о ней я и думал, когда человек с треножником вернулся.

Приехали грузовики с рабочими, привезли кирки и лопаты, человек с треножником стал отдавать распоряжения. Был выгружен большой деревянный щит с выведенным на нем красными буквами незнакомым именем: Пепе Пласолета.

Щит укрепили на самом видном месте, после чего рабочие принялись рыть ямы, вбивать колья и натягивать между ними веревки. В это время Бродяга вышел из-за монастырской ограды. Со свалывшейся шерстью, весь в репейниках, он приближался неспешной рысцей и на миг остановился, как бы не веря своим глазам. Затем оскалил зубы, зарычал и бросился к группе рабочих, безошибочно определив среди них человека с треножником.

Для начала Бродяга разодрал ему брюки. Человек пинком отбросил его, но пес не отстал и вновь бросился на врага. Когда рассеялись клубы пыли, оказалось, что нога человека вся в крови. Люди побросали лопаты и с криками кинулись по грузовикам. Человеку с окровавленной ногой тоже кое-как удалось взобраться на машину.

Бродяга полаял еще немного и удалился под древесную сень. Грузовики тронулись в обратный путь. Человек с треножником сидел в одном из них, привалившись к борту, вытянув пострадавшую ногу, и стонал. Его окружали растерянные рабочие.

Вечером явился 501-й, получивший приказ пристрелить Бродягу.

Он прицелился в него из-за угла, но пес скрылся за монастырской оградой. Полицейский целую ночь прождал его, но Бродяга так и не появился.

Грузовики приехали снова. У человека с треножником была забинтована нога, и он хромал, опираясь на палку. Он огляделся — собаки не было. Человек с треножником отдал какие-то распоряжения, и снова глухо и монотонно застучали лопаты и кирки по твердой земле.

Вдруг кто-то закричал, и все кинулись врассыпную. Человек с забинтованной ногой нервно вздрогнул, повернулся туда, куда были направлены взгляды людей: там, опустив морду и угрожающе оскалив зубы, стояла собака.

Человек рванулся с места, и в то же мгновение собака бросилась на него. Он был уже рядом с грузовиком, когда почувствовал, что в бинт вонзились клыки. Несчастный упал, и Бродяга прокусил ему щеку. Град камней посыпался на пса. Один угодил прямо в голову. Бродяга взвыл от боли и бросился в монастырский сад.

С этого дня за псом началась охота по всем правилам.

Появились вооруженные гвардейцы. Они прошли в монастырские владения, и вечером оттуда стали раздаваться выстрелы. У колючей проволоки дежурил полицейский и не разрешал нам приблизиться. Мы отошли на некоторое расстояние и проторчали там, пока солнце не угасло на противоположном конце улицы и не возвратились охотники; пропыленные, грязные, растрепанные, с разорванными штанинами, они устало брели по улице, проклиная все на свете и чертыхаясь.

Ночью 501-й занял свой обычный пост, у лавки, но на этот раз он пришел не один, а в сопровождении двух жандармов. Все трое встали у дверей. Там, зевая от вынужденной бессонницы, с подведенными от голода животами, часовые

встретили рассвет. Они покинули дежурство, когда вернулись грузовики.

На этот раз человека с треножником не было. Грузовики, их было два, охраняли четверо вооруженных полицейских. К полудню небо покрылось мрачными тучами, словно предвещавшими несчастье. Мы хорошо представляли, какой будет развязка. Прошло довольно много времени, когда при свете молнии из глубины монастырского сада вновь появился Бродяга.

Несколько человек вскрикнуло. Полицейские взяли ружья наизготовку. Собака замерла и насторожилась, стремясь обнаружить своего врага. Его не было, пес сделал несколько шагов вперед. Полицейские выстрелили. Собака вздрогнула, по ее пегому боку расплылось красное пятно, но она не остановилась. Медленно и непреклонно Бродяга приближался к людям.

Он не желал возвращаться к монастырю и грудью шел на противника.

Из дул четырех ружей снова вырвался дымок, Бродяга замер. Ручеек крови побежал у него по шее. Но все-таки он сделал еще несколько шагов, пока следующие четыре пули не прервали его марш. Пес поднял нос к небу, попытался залаять, но, ослабев, медленно повалился на левый бок.

Полицейские с опаской приблизились к нему. Один из них ткнул собаку мыском ботинка: Бродяга был бездыханен. Какой-то рабочий за хвост оттащил его на край площадки и грустно покачал головой.

— Это был настоящий расстрел,— сказал он.

Теперь работа могла продолжаться. Семь дней спустя вернулся человек с треножником. Рабочие копали утром, днем и вечером. Но еще раньше, в день гибели собаки, когда люди уехали из-за ливня, мы под проливным дождем вырыли яму на рабочей площадке и схоронили там Бродягу.

Мы не поставили креста над Бродягой, чтобы не догадались, где его могила.

Соседи знали, но помалкивали.

На церемонии открытия нам объяснили, что за человек, имя которого присвоено маленькому скверу. Но мы так и не ра-

зобрались в заслугах этого официального лица. Да никто и не называл сквер его именем. Мы окрестили его по-своему — «Сквер Бродяги».

## Каталина

*Желание одарить жизнью выше стремления к убийству. Конечно, в этом что-то есть — разодрать грудь мужчины! Ведь оттуда может вылететь его душа. Интересно, как она выглядит? Какого цвета? Чем пахнет? Я говорила Рафаэлю: «У души твоей аромат миндаля, она овальная и светло-зеленая. Душа твоя похожа на пасхальное яйцо. Да, Рафаэль, на пасхальное яйцо. Я видала, их показывали в кино, и я тогда сказала: «Это душа моего мужчины». Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Я вижу твою душу, я ее читаю. Как? Если бы я сама это знала, дружок. Я читаю ее так же, как слышу твои пальцы, когда они ласкают мне бедра и живот. Есть говорящие руки — это твои руки. Они мне говорили: «Каталина, я люблю тебя, люблю тебя». Руки твои сотворены из корицы и петушиной шпоры. Они благоуханны, но они ранят. А твои пальцы источают любовь.*

*Для меня золото — ненужная роскошь. Оно несет с собой горе. Люди убивают друг друга из-за золота. И золотом мы развратили наших святых. Мне нравятся цветы и бронза. Если надеваешь бронзовое кольцо, быстрее бежит кровь. Но еще лучше просто стакан воды. И ты хорошо это знаешь, Рафаэль. Пока он стоял у нас в изголовье, ты оставался со мною».*

## Клаудиа

*Ночные ароматы напоминают о Клаудии; черные отблески горят на ее прямых, гладких волосах, когда по утрам она проходит по улице, свежая и элегантная, на зависть другим женщинам. Клаудиа вся светится, словно на нее направлен луч прожектора.*

Мы замирали, когда открывалась дверь ее дома и чарующий шелест юбок летел по тротуару (дома нас каждый раз ждал семейный скандал, но мы рады были пострадать из-за нее). Мы совсем теряли голову, когда она, вся в голубом, бежала вниз по улице к шоссе и, лукаво поглядывая на нас, кричала: — Привет, красавчики!

Потом она исчезала до позднего вечера, или до полуночи, или до следующего утра, а утром снова повторялось чудо. Народ прозвал ее «гуахира»\*.

Аромат полевых трав, веющий от нее, выдавал ее происхождение. От нее исходил запах погонщика, сейбы и зелени. Женщина, пахнущая так, пробуждает желание и любопытство: видно, как ее кровь, словно бурная река, бежит под смуглой кожей, разливается и окрашивает для нас в розовый цвет предутреннюю дымку. Такой была Клаудиа.

Те, кому выпало счастье видеть ее обнаженной, подтвердят, что я не лгу. Мне-то этого не было дано, о чем я буду сожалеть до конца своих дней. Она отказала в этом всем нам, юнцам, которым так нравились ее голубые глаза, ее призывные бедра, ее дразнящая походка.

Как знать, может быть, это было наказанием, которому она сама себя подвергла. А может, ею руководило подспудное стремление навсегда оставить в нас жажду, что она пробудила. Хорошо это было или плохо, но Клаудиа все время соблюдала дистанцию между нами, и хотя обращалась с нами сердечно, но до себя не допускала.

Сейчас ее уже нет, а мы продолжаем любить ее. В нас все еще горит огонь, согревавший наше отрочество. Мы постарели, но она осталась для нас вечно молодой. Достаточно взглянуть на нас, тех, кто ее пережил, когда разговор заходит о ней,— она вновь перед нами во плоти и крови, в темном блеске волос, во всей своей пленительной красоте. И снова она убегает от нас, чтобы выйти на панель на другой улице. И радостно, впрочем не без примеси грусти, мы делимся воспоминаниями о Клаудии.

\* Кубинская крестьянка.

*Я понимаю, что смерть спасла Клаудию от падения в глазах ее обожателей. Никто из нас уже никогда не будет считать «нашу Клаудию» обычной проституткой.*

*Она успела погибнуть до того, как мы начали понимать, что такое ее профессия, и поэтому она навсегда останется для нас чистой.*

*Мы все ее такой и считали. Мы воздвигли стену между жизнью, какую она вела на нашей улице, и той, другой, что она растрчивала вдали от нас.*

*И до сих пор мужчины улицы Магнолии одержимы Клаудией. Особенно в такой день, как сегодня, когда рассвет застал нас в нашем сквере и когда мы пришли к единодушному заключению, что дочка нашей умершей возлюбленной стала взрослой.*

*Мысль о том, что девочка похожа на Клаудию, причиняла нам боль, ибо Клаудиа должна была оставаться единственной и незаменимой.*

## Ломберто

Однажды вечером Красномордый появился в бильярдной Хромого. С ним были Гильот и еще три каких-то типа. Он прислонился к колонне и жестом как бы приказал нам продолжать игру. На нем были очки в черной оправе. С первого взгляда могло показаться, что у него очень большой нос, но на самом деле это было не так. Тонкие рыжеватые усики щетинились над небольшим, но выразительным ртом. Я намелил кий и искоса взглянул на него. Мне не понравились его глаза, а еще меньше понравилось то, что он спросил про Клаудию. Хромой пожал плечами и вскинул брови. Он не знал, где она.

— Скажи ей, что я был тут, — велел Красномордый, — и пусть побережется Толстяка.

— Толстяка? — переспросил Хромой.

— Да, Толстяка Ломберто, — ответил тот, повернулся и вышел.

Все пятеро уселись в автомобиль, по асфальту взвизгнули ши-

ны. Мы высунулись из бильярдной и увидели, как блеснул задний бампер «форда», повернувшего с шоссе на виа Бланка. Игроки примолкли. По правде говоря, кое-кому Красномордый нравился. Например, Тыкве импонировала его манера жить, одеваться, водить машины... убивать.

— Эх, мне бы так!— воскликнул Тыква, когда мы снова принялись гонять шары по зеленому сукну.— До чего же, кум, мне нравятся эти счастливики. Вот уж кто умеет пожить в свое удовольствие.

Никто не ответил ему. Я взглянул на Хромого; прислонившись к колонне, он сидел на табуретке, пристально глядя Тыкве в затылок. Казалось, он о чем-то раздумывает. На нем был фартук с двумя большими карманами: один для мелочи, другой для бумажных билетов. Хромой упорно не принимал североамериканские монеты по 25 центов, из-за чего терпел немалые убытки. «Хромой-то у нас коммунист,— болтали на улице,— вот почему он пренебрегает деньгами американцев».

Но вот последний шар загнан в лузу, и мы ставим кии в специальную стойку, вделанную в стену. Тыква ушел, и я подхожу к табурету, где сидит Хромой. Остальные обсуждают последний матч пелоты\*. Хромой, похоже, витает где-то далеко отсюда. Он сосредоточенно думает. У Хромого глубоко посаженные глаза, густые, длинные, прямые волосы и короткая челка. Он не любит, чтобы волосы лезли в глаза. Кроме того, у Хромого привычка теребить левой рукой мочку правого уха. Поэтому он не смотрит вам прямо в глаза, а голова его склонена набок, словно бы его что-то беспокоит. Друзья привыкли к этой манере и даже знают, откуда она взялась: у Хромого нет левого уха. Хромой, жертва несчастного случая, потерял его тогда же, когда стал калекой на всю жизнь. Суд присудил ему получить с железнодорожного ведомства 1500 песо за потерянное ухо, но за искаленную ногу он не получил ничего. Позднее, во время общего локаута Хромой лишился места кочегара. Тогда на эти 1500 песо он открыл бильярдную.

«Это заведение я приобрел, продав одно ухо,— любил он

\* Разновидность бейсбола, очень популярная игра на Кубе.

повторять, когда был в хорошем настроении.— Но для твоей дерьмовой трепотни, Тыква, оставшегося уха мне хватает, и даже с избытком». Только в тот вечер он упорно молчал и не отрывал глаз от дверей дома Клаудии.

Теперь-то я понимаю, что тогда произошло. Я рассказал обо всем Бальбине, чтобы она подтвердила или отвергла мои домыслы. Бальбине, вытершей первую лужу крови в день первой забастовки. Нашей старой Бальбине, от чьей одежды исходит запах древности, словно от исторических документов. Ей, хранящей манифесты, вырезки из газет и журналов, флажки, фотографии, счетчики с платных стоянок автомобилей, разбитые нами в пятьдесят девятом году, и лоскут от маскировочного халата, подаренный ей нашими ребятами после победы на Плайя-Хирон. Она тогда встретила нас смехом, слезами и отборными ругательствами.

Итак, в тот вечер Хромой не хотел говорить. Но я знаю, о чем он думал. Ему не нравилось, что Клаудиа связалась с этим типом с рыжими усами. Он ломал себе голову над тем, что она в нем нашла особенного, Хромой тоже любил Клаудию. Я догадался об этом. Он бы с удовольствием отдал свое единственное ухо и здоровую ногу, чтобы королева красоты улицы Магнолии порвала эту связь.

Когда Клаудиа вернулась, он передал ей, о чем его просил Красномордый. Она улыбнулась, и улицу вдруг наполнили свет, аромат, воздушные шарики, на ней появились солнце, дождь, радуга,— что там еще?— ангелы, маски, арлекины. Так всегда случалось, стоило только ей приоткрыть свои ярко накрашенные губы, за которыми блеснул двойной ряд крепких, чистейших, белейших зубов, Бальбина, способных в один миг разгрызть земной шар, как орех. Она улыбнулась и пожала плечами. И Хромой не осмелился дать ей какой-либо совет. Он только смотрел на нее. Не отрывал от Клаудии глаз до тех пор, пока она не скрылась в доме. Потом он прислонился спиной к угловому столбу и, запустив руки в карманы фартука, стал перебирать монеты, которые вдруг зазвучали любовной, грустной, но приятной мелодией, летевшей по улице к шоссе. И тут в первый и последний раз я услышал, как Хромой поет.

Почему поют бедняки? О чем? Как и кому они поют? Когда и сколько они поют? Мой старик пел в канун стачек. Он импровизировал. Бросался на кровать в одежде и, отбивая ритм по животу, уставя глаза в потолок, сочинял десимы\* против американцев. Отец моего отца пел, когда республиканцы одерживали победу. Он раскупоривал бутылку «Вилья-висьосы» и посылал за Хулианом и его гитарой. Я любил смотреть, как тот расстегивал ворот рубашки и принимался рассказывать о любви, о шахтах, об ореховых деревьях, о народной милиции, о снеге и о далекой астурийской деревне. Пел старый trovador\*\*, и романс сам слетал у него с губ. Он пел, склонившись над своей гитарой и не отрывая глаз от ладов, по которым, словно по телу любимой женщины, скользили его пальцы. Пел и я, пели и вы, все мы пели на нашей улице. Нам нравилось петь и слушать пение. Нам и до сих пор это нравится. Только сегодня мы слышим другие песни. Они те же самые, но звучат по-иному. Прежние мелодии обрели новые слова, их передают по радио, и сейчас, когда у нас весна, они западают в наши сердца, как и во времена нашей долгой зимы. Эти песни всегда с нами. Она звенит в нашей душе, старая и вечно новая, она поет о любви и грусти, обо всем том, что живет в человеке испокон веков. Но и в ней кое-что переменялось. Теперь это победная песнь. Она не плачет и не жалуется, она зовет к жизни, ее поют все вместе как гимн, хотя она и не гимн; она поднимает дух; уносит тебя ввысь, заставляет смеяться и, словно граната, рассыпается осколками по всей улице. Эта песня смеется, сердится, разрывает сердце. Она поет о будущем. Это не песня отца моего отца. И не горькие, корявые десимы моего старика, возвещавшие забастовку.

Однажды на рассвете мы увидели, что дом Клаудии заперт. «Уехала на Север», — решила Бальбина. И улица сразу стала другой, ей чего-то не хватало. Клаудиа считалась позором и бесчестьем семи кварталов улицы Магнолии, но если мы не

\* Десятистрочная строфа, свойственная кубинскому фольклору.

\*\* Народный певец, исполнитель десим, частушек, народных романсов.

встречали ее по утрам, то чувствовали себя незаслуженно обездоленными.

Парадное дома Клаудии постепенно покрывалось копотью, которую выбрасывала труба завода «Томасита», производившего консервы из гуайавы\*. Теперь я понимаю, почему этот аромат мне всегда напоминает о Клаудии. Она и гуайава — одно и то же. Ароматом женщины и гуайавы был полон воздух нашей улицы. Этот аромат обволакивал тебя, как только ты сворачивал с шоссе и попадал на Магнолию. Там царили Клаудиа и гуайава.

Но с того дня, когда она уехала, остался лишь запах гуайавы. Время от времени кто-нибудь из нас произносил ее имя, и тогда еще острее, всем своим существом чувствовали мы ее отсутствие — ее имя оставляло горький привкус на губах. Мы ощущали пустоту, мучительной тревогой сжималось сердце. Необычная тишина стояла теперь на углу возле ее дома, где мы собирались воскресными днями.

«Ты уехала, Клаудиа, — думал каждый из нас про себя, — а мне так и недостало ни денег, ни храбрости, чтобы хоть на миг обладать тобою. Особенно храбрости. Ведь чтобы прийти к тебе, надо понимать твой особый язык, знать твои привычки, уметь, как ты, танцевать мамбо и напевать песенки Бени Море; нужно привыкнуть к твоему низкому, хриплому голосу, к твоим загадочным, одновременно серьезным и насмешливым речам. Как это ты произносишь: черт возьми, проклятье, любовь моя, нет, не хочу, да, хочу, два песо, ничего, до свиданья? А как прозвучит слово «женщина» ночью, когда я буду в твоих объятиях и сметутся все запреты моей матери? (Отец-то, я знаю, втайне будет гордиться, если утром на фабрике друзья ему скажут, что я был у тебя.)

Клаудиа, любовь моя; то есть если бы...»

Все мы думали об одном и том же...

Однажды вечером рядом с именем Клаудии возникло мужское: Ломберто. Как только мы — Хромой, Тыква и я — слышали его, так тут же возненавидели. Это имя было набрано в

\* Плод тропического дерева, растущего на Кубе.

газете крупным шрифтом, более мелкими буквами стояло: правительственный секретарь. Имя Клаудии шло дальше в длинном списке задержанных проституток. Это был неожиданный удар для нас. Ломберто — вор, грязный политикан, завсегдатай борделей, секретарь правительства, которое делает ставки на Красномордых, дерет три шкуры с хозяев маленьких бильярдных, пресмыкается перед Компанией, стреляет в моего отца во время забастовки. Это ты, Ломберто, включил Клаудию в список под фотографией, где изображен ты сам с улыбкой на жирной физиономии и твои головорезы — полицейские в темных очках. С ними ты громишь нищенские публичные дома, в то время как бордели, где ты проводишь время, остаются неприкосновенными.

Только сейчас, когда прошло столько лет, мы поняли что к чему. Тогда же мы приписывали все лишь воле случая. На протяжении недели только об этом и говорили. Женщины старше восемнадцати лет радовались происшедшему; девчонки заговорщически перемигивались; а мы все держали сторону Клаудии, женщины, принадлежавшей всем и никому из нас, владычицы наших снов и желаний. И мы все как один, не сговариваясь, решили: Ломберто не было. Его не существовало. Толстое, усатое, улыбающееся лицо на газетной полосе — очередной вымысел. А Клаудиа далеко «на Севере», как объявила Бальбина, которая и тогда все понимала. Нет, Клаудиа не в тюрьме, она просто осталась пожить немного там, где ей нравится. И в самом деле, разве можно было представить себе Клаудию, с ее бедрами и походкой, в тесной камере, за железной решеткой, под надзором тюремщиков. Нет, в списке была другая Клаудиа.

И вот наступило утро, когда дверь ее дома приоткрылась. Сначала повеяло ее ароматом — запахом зелени и молодой кобылицы. Потом появилась она сама. Красивая, немного задумчивая, но как всегда светящаяся, все так же радующая глаз пленительными формами. Она вытерла копыт с входных дверей, и наша улица стала такой же, как была. Ее снова наполнило благоухание женщины и гуайавы.

Клаудиа улыбнулась. На мгновение задержала на нас взгляд.

Потом тихо прикрыла дверь. И каждый из нас понял в это мгновение, что она наша. Клаудиа снова была с нами.

## Последний раз, как я видел сеньориту Мери

Однажды дождливым вечером сеньорита Мери появилась на улице Магнолии. Она приехала на машине, которую вел мужчина, по возрасту годившийся ей в отцы. Она выглядела постаревшей, взгляд ее казался рассеянным, и кончики кудрей были подпалены. Внутри у меня что-то оборвалось.

Сеньорита Мери приехала издалека, чтобы увидиться с Каталиной.

Мужчина остался в машине, а девушка, прижимая руки к груди, словно ей больно, вошла в дом. На нас она даже не взглянула.

Каталина открыла дверь, и в блеснувшей полосе света нам показалось, что когда-то голубые глаза Мери стали серыми. Лица ее мы как следует не разглядели, да в этом и нужды не было. Наши головы сами собой печально поникли.

Два долгих часа пробыла она в доме, озаренном светом свечей, под внимательными взглядами Каталининых святых. А мы все стояли на углу улицы и чего-то ждали. Чего? Сами не знали. В нас теплилась слабая надежда, что откроется дверь и к нам выйдет прежняя Мери.

Через два часа дверь отворилась.

На мгновение при слабом свете свечи рядом с Мери возникла фигура Каталины. Но только на одно мгновение; девушка бросилась к машине, мужчина открыл ей дверцу, и она упала на сиденье.

Кое-кто из нас заметил на ее глазах слезы.

Три дня спустя Мери покончила с собой.

Улица Магнолии словно помешалась. Мы снова вспомнили самоубийство родителей Лауры, мы выдвигали гипотезы, излагали свои соображения, делали заключения и выводы. Но все мы ошибались. Сеньорита Мери не была больна и не носила в себе ребенка, которому могла бы дать только свое имя.

Одна Каталина знала в чем дело. Много лет спустя она поделилась своим секретом с Бальбиной.

«Мери приехала ко мне, потому что влюбилась. Мужчина был женат и обещал ей развестись. Между ними ничего не было, но длилось все это долго, и она знала, что не устоит. Как только мужчина появлялся, у нее кровь начинала стучать в висках и груди твердели. Вот она и приехала ко мне узнать, будет ли он когда-нибудь принадлежать ей. Я спросила святых, и они ответили, что нет. Когда я сказала ей об этом, то увидела смерть в ее глазах».

Сеньорита Мери покончила с собой из-за любви.

«Из страха перед любовью», — утверждала Каталина.

## Забастовка

*Для меня и моих двоюродных братьев забастовка — праздник: по утрам никто не идет на работу, у здания Компании стоят пикеты, повсюду лозунги и листовки. В день забастовки отец не ночевал дома. Лишь заглянул на рассвете — взял пальто. Он чиркнул спичкой, и я его увидел. Улица звала его в эти дни «секретарь». Только близкие друзья обращались к нему по имени: Маноло.*

*Для меня и моих братьев забастовка — праздник. Но для моей матери и теток это печальное время. Зато для продавцов пончиков, тамалей и кокосового варенья забастовка тоже праздник.*

*Дед Руфино в это время предается горьким размышлениям о том, что никогда не состоял в профсоюзе, не был частичкой этого огромного механизма, захватывающего тебя всего, без остатка, и бросающего в игру, исход которой предполагает бесконечное число вариантов.*

*За отцом пришла полиция. Улица полнится криком: кричишь ты, кричу я, все кричат. Полицейские хватают отца, да только нам — мне и ему — наплевать на них, хотя они и грозят пристрелить его. На мать я тоже не обращаю внимания; она отбивается ногами, кричит, плачет, и я плачу, потому что*

она не дает мне врезать палкой по башке 501-му; полицейский не говорит отцу «секретарь» или «Маноло», он называет его «сукиным сыном» и вытаскивает револьвер; старик сжимает кулак, отводит локоть, замахивается на него, а я кричу, чтобы он дал ему в морду, и отец двигает его как следует. Полицейские берут нас в кольцо: меня, отца, Вегиту и деда (остальных прогоняют на другую сторону улицы); отца бьют, он дает сдачи, я дерусь, царапаюсь, кусаюсь, ругаюсь, они тоже ругаются и тоже бьют нас. Деду раскровенили нос, отцу рассекли бровь, а у меня горит мочка левого уха, но я вспоминаю, что у Хромого тоже нет уха, и мне наплевать на свое, пусть его хоть оторвут, ведь я защищаю отца; отец кричит мне, чтобы я не пугался под ногами, а я кричу, что это они пугаются, слезы душат меня, я чувствую, что наделал в штаны, у меня схватило живог. Но я все равно не отстаю и разбиваю себе правую руку о металлический герб, прикрепленный к кобуре полицейского, герб моей родины, а какая к черту это родина, если мать без сознания валяется на мостовой, а полицейские снова хватают отца и заталкивают его в машину; Вегиту сбили с ног, дед пытается поднять мать, подходит народ и помогает унести ее в дом; я запираюсь в уборной и долго, долго плачу; потом выхожу на улицу и вижу на асфальте лужицу крови.

Наступают тяжелые времена. На нашей улице воцаряется необычная, тревожная тишина. Народ толпится у парадных, сидит на перилах, на ящиках из-под прохладительных напитков. Мать не встает с постели, а отца все не выпускают из тюрьмы. Я хочу быть с ним и говорю об этом Вегите; он молча гладит меня по волосам. Голова у него забинтована. Потом Вегита осматривает мое ухо и велит промыть его борной кислотой. Это делает Клаудиа, только сейчас ее аромат оставляет меня совершенно равнодушным.

А потом приходит страх. Не тот ужас, от которого мурашки бегают по спине, а просто страх. Страх. Страх. Можно не показывать виду, что ты боишься, но он живет в тебе. Никогда тебя не покидает, ты чувствуешь, как он все растет и растет: от него слабеют колени, щекочет в паху, подводит живот, он застревает в горле. Чтобы его не увидели в твоих

глазах, ты зажмуриваешься. Ты боишься не Компании, не американца, не полиции. Ты боишься неизвестности: того, что может случиться.

И пока «секретарь» сидит в тюрьме, твой страх загоняет тебя в свой застенок, ты будешь думать: «Я смел, потому что умею скрывать свой страх», или: «Я трус, потому что смелости во мне нет», «У меня просто сдали нервы», «Моя смелость родилась из страха», или: «Я смел, потому что осознаю, что боюсь», или: «Я трус, потому что моя смелость — вовсе не смелость, она длится всего несколько минут. Стало быть, я трус... или я смельчак... трус... смельчак... Я такой же, как и все». Я, ты, он, тот или другой. Нет полных трусов, как нет и чистых храбрецов. Человек устроен непонятно, в нем всего намешано. Мой старик тоже иногда боится. Я видел страх у него в глазах, когда он кричал мне, чтобы я, черт возьми, не пугался под ногами. Но все-таки мой старик — смельчак. Вегита, правда, старик у меня смельчак? Хромой — точно смельчак. Вот он встает с табурета, подходит ко мне, наклоняет голову к плечу и искоса смотрит, левой рукой пощипывая мочку правого уха. «Тебе страшно, сынок?» Я отвечаю «нет», потом «да», потом «не знаю». Он продолжает молча смотреть на меня, и тогда спрашиваю я: «Хромой, а что такое страх?»

Но вот мой старик возвращается, и страх исчезает. Испаряется, рассеивается, убегает, прячется. Уходит, как уходят ночные тени. Бальбина замыла лужицу крови на асфальте. Народ снова собирается на улице, и даже солнце, кажется, светит по-новому. Мать встает с постели, а Хромой поднимает железную дверь своей бильярдной.

Я не отхожу от отца ни на шаг. Его обнимают, целуют, ждут, что он скажет. Отец закатывает рукав рубашки, и я вижу у него на руке, под широкой запекшейся царапиной, синяки. От него исходит резкий, непривычный запах. Он говорит, что забастовка будет продолжаться, и все вокруг улыбаются, выражая свое согласие. Люди ласково похлопывают его по плечам, он присаживается на крыльцо, и я взбираюсь ему на колени. Приносят кофе, и он одним глотком выпивает его.

Машина Гильота сворачивает на улицу и резко тормо-

зит. Выходит какой-то человек и сообщает, что Гильот сам хочет заняться нашим делом. Мой старик не верит, что из этого выйдет что-нибудь путное, но Вегита вызывается поехать. Всюду он суется, этот Вегита. Они садятся в машину и вырывают на шоссе. Мой старик не поехал. Он говорит, что нет смысла вести пустые разговоры. В небе пылает жаркое солнце, не менее жарко горит мое ухо. Отец говорит, что хотят они или не хотят, но расценки им все равно придется повысить. Я живо чувствую боль от раны на его руке, так же как ощущаю распухший от ударов, воспаленный нос деда на своем лице. «Они получают прибыли, а нас губит нужда», — продолжает отец. Солнечные лучи озаряют улицу, у моего старика сквозь разодранную рубаху светится белая кожа. Он говорит, что пора из царства нищеты перейти в царство свободы и предать здесь все огню и мечу. Потирая ладонью раненое предплечье, он вспоминает о Марти, о том, что вытворяют американцы, говорит о детях, о пролитой крови, о будущем, о нашей истории, о пулях и листовках, о завтрашнем дне, о никуда не годном жилье и о том, что нам нечего терять, кроме своих цепей. Народ приветствует эти слова криками и аплодисментами, я тоже кричу и бью в ладоши. Еще отец говорит, что у нас нет ни школ, ни башмаков, что не все могут даже сделать ребятам подарки на рождество, что нас выбрасывают из домов. Напоминает о безработице, войне за независимость, необходимости бороться за свободу, снова о Марти, еще раз об американцах, о пролитой крови, о пулях, законах, «товарище маузере». Я вместе со всеми кричу: «Да здравствует свободная Куба!» и «Да здравствует секретарь!» Отец заявляет, что настало время всерьез браться за дело, что смерть во имя свободы — благородная смерть (ему снова рукоплещут, и я тоже), что республику предали, что необходимо еще раз сделать революцию, как это было в тридцать третьем году, и дать народу землю. На лбу и на шее у него вздулись жилы, а он все говорит о штрейкбрехерах, подкупах и еще о многом. Кажется, что отец становится выше ростом, он поднимает вверх руку и опять повторяет, что нам нечего терять, кроме своих цепей; Хромой позванивает монетами в кармане фартука, народ кричит

*и громко хлопает в ладоши; отец проводит по губам кончиком языка и призывает покончить с хозяевами, мол, теперь все будет как надо и «наша сила, товарищи, в единстве». Кто-то выносит знамя, и Бальбина запекает революционную песню.*

## Каталина

*Если святые тебе не покровительствуют, живи праведно. Если покровительствуют — тоже: береженого бог бережет. Зачем испытывать судьбу? Зачем нарываться на скандалы? Да упокоит ее душа господь в своем святом царстве, но Клаудиа должна была умереть насильственной смертью.*

*Я-то знала ее мало, но она мне все-таки нравилась. Особенно мне пришлось по душе ее девочка, дочка. Все-то она приходила ко мне и тормошила вопросами. А я люблю любопытных людей. Очень люблю. Благодаря им мир не стоит на месте. Я об этом прочла в статье, которую напечатали в журнале «Селексьонес»; журнал что надо, оттуда узнаешь, к примеру, как живут негры на Севере, безо всякой дискриминации (я правильно сказала?), а вовсе не так, как Хромой рассказывает. Вот и он тоже. Все ему надо больше других, ну и вернулся из полиции с отбитыми легкими.*

*Значит, так, через девочку я и познакомилась с Клаудией поближе. Она смеялась над моими святыми. Я ей сказала: «Дочка, коли тебе нравится — смейся. Но только у меня есть моя вера, понятно?» Каждый верит во что хочет. Я, к примеру, верю в цветы и воду. И в этом меня никто не переубедит, а что случится с Клаудией, я предвидела.*

*Конечно, я ее предупредила, только она снова засмеялась. Правда, в тот вечер она дала мне песо и сказала: «Ката, я в твои сказки не верю, но купи цветов для святых, пусть меня охраняют». А я не успела.*

*Может, если бы она дожила до рассвета и я бы поставила цветы, мы бы отвели беду.*

*Только тот человек меня опередил.*

*Я не ходила смотреть на нее, мертвую. Такая краса-*

вица — и умереть такой смертью! Она этого не заслужила. А как ее здесь любили! Вся улица пошла на похороны. А уж Хромой-то переживал. Он плакал, да, сеньор, плакал. Он всегда был добрым. Впрочем, даже малые дети плакали. Особенно жалели девочку — такая маленькая и осталась совсем одна, никого-то в целом мире у нее нет. Но старуха Бальбина какова! Она ведь ее вырастила. Разве вы не слышали, что девочка называет ее «бабушкой»? Да, сеньор, она никогда не называет ее Бальбина.

Клаудии не повезло в этой жизни. Может, там, наверху ей лучше. Я на всякий случай ставлю святому цветы за нее. И молюсь: «Старик, охрани ее. Где бы ни витала ее душа, пошли ей свет и покой; укажи ей путь, пусть она обретет мир».

Сколько раз она сидела у меня здесь, в этой зале, вот на этом самом кресле! Когда мне рассказали, я вся похолодела, но не испугалась. Я знаю, мне она зла после смерти не причинит. Просто я не могу видеть мертвецов. Так уж я устроена.

## Дед

Я спрашиваю: «Кто построил этот дом?» Твой дед Руфино, отвечает Бальбина. Собирал песету за песетой, а потом дождался воскресенья, чтобы соседи пришли помочь. Угощал их лимонадом на желтом сахаре и хлебом с вареньем из гуайавы. Так застроили всю улицу. От воскресенья к воскресенью. Но дома, которые строил дед, ему не принадлежали. Время от времени он наживал дом, а потом терял. Один у него украли в Спортивном клубе. Целехоньким: от фундамента до черепичной крыши. У деда вытащили 400 песо, и он за долги отдал дом, где жил. Другой разрушил в двадцать шестом циклон. А последний свалил циклон сорок четвертого. Он был не такой сильный, как в двадцать шестом, но бед наделал немало. Дед вечно оказывался на улице, без ключа от двери, потому что своей двери у него не было. Нет ничего хуже, чем лишиться крыши над головой — тоска заест. Только субботними вечерами он развлекался. Ходил на танцы. Ходил дед не для выпивки, а просто

потанцевать: его крепкие ноги каменщика двигались в такт мелодии на удивление легко, даже со своеобразной эlegantностью, а широкие брюки, словно два опахала, разрезали воздух, освежая атмосферу переполненного зала. Дед пользовался славой лучшего танцора. Но мы, внуки, узнали об этом, только когда выросли. Да и тогда нам не верилось, что именно ему расточают столько похвал. Но, без сомнения, речь шла о нем, о деде Руфино. Ни один из нас не унаследовал его таланта. Дед был последним королем чарльстона на нашей улице. По своим убеждениям дед Руфино был ближе к либералам, но относился с большим уважением к моему отцу и обращался с ним как с родным сыном, хотя дочь ему была моя мать. Старик Руфино так и не вступил в профсоюз, но забастовки, стачки, демонстрации он принимал близко к сердцу и не раз вместе с моим отцом проливал кровь за рабочее дело. В церковь дед не ходил, но чтит законы, даже если и страдал от них. Когда дед обзавелся семьей, его не раз забирала полиция, потому что ему нечем было платить за квартиру. Он шел в тюрьму, но ни разу никто из нас не оставался ночевать на улице. Крыша над головой семьи была для деда священна.

## Пресса и смерть Клаудии

Неделю спустя после исчезновения Клаудии Бальбина получила журнал «Бозмиа» и принялась неторопливо его листать, пока не дошла до раздела

### ПРОИСШЕСТВИЯ

Текст Хорхе Яниса Пухоля.  
Фотографии Баркалы.

Дочка Клаудии играла у дверей дома.  
Бальбина читает дальше:

Из девочки — в женщину  
Убить или умереть  
«Спи, мой мальчик»

Халиско не раскальвается  
Невеста ее мужа

Она переводит взгляд на взятые в рамочку цитаты из заметок:

«Это была лишь боль девочки, которая становится женщиной...» «Чем стать мокрушником, лучше покончить с собой...» «И мать продолжала свою прогулку, катя колясочку с трупом ребенка...» «Халиско не раскололся, но его крепко помяли...» «Так, значит, это вы невеста моего мужа...»

И дальше: «Шоссе на Венто — пустынная дорога, пролегающая по безлюдным местам...»

Бальбина посмотрела заголовок: «Шоссе на Венто».

«Должно быть, про Клаудиу»,— подумала старуха и принялась читать:

«Мотор как-то странно, с перебоями, затарахтел и замер.

— Вон оно что!— воскликнул мужчина.— Вода попала в радиатор.

Прекрасная смуглянка бросала тоскливые взгляды на безлюдные пространства, простиравшиеся по обеим сторонам шоссе на Венто.

Клаудиа была женщиной легкого поведения. Этой ночью она вместе с «другом» выпивала в одном из гаванских баров. Затем он пригласил ее проехаться за город, «где мы сможем побыть наедине». Женщина ответила согласием и на взятой напрокат машине они добрались до мотеля «Вилья Кандида», где и пробыли до глубокой ночи. Потом по неизвестной причине «друг» распрощался с нею (заплатив ей) и оставил одну у дверей. Лил дождь.

И вот теперь, в авто с запотевшими стеклами, совсем одна посреди бескрайних просторов Клаудиа горько упрекала себя за то, что села в машину к незнакомцу, подобравшему ее у входа в мотель.

«Мне не нужно было соглашаться»,— думала она.

Дождь все лил и лил, шоссе было совершенно пустынно.

— У меня нет другого выхода,— пробормотала молодая женщина и вышла из машины. Клаудиа знала, что в трех

километрах отсюда находится гараж. И она пустилась в путь одна, под проливным дождем... даже не простившись с мужчиной.

Не прошла она и километра, как услышала за спиной шум мотора. Клаудиа остановилась на краю дороги. Приблизился грузовичок, он остановился рядом с нею.

— Вы куда? Садитесь, подвезу.

Из окошка смотрело добродушное крестьянское лицо. Клаудиа не колебалась, переложила сумочку в другую руку и поднялась в кабину.

— Уж этот дождь!— воскликнула она.— Я ехала на машине, которая там, внизу, сломалась.

— Я видел ее,— ответил крестьянин, включив зажигание.— Она все еще не двинулась с места.

— Высадите меня у гаража.

Отряхивая воду с платья, Клаудиа глубоко вздохнула. Ей показалось, что крестьянин едет слишком быстро, и она спросила:

— Вы здесь живете?

— Ага,— последовал сухой ответ. Теперь этот мужчина уже не казался Клаудии добродушным, но она пожала плечами — не все ли ей равно, лишь бы подбросил ее к гаражу, там останавливается семнадцатый автобус. Неожиданно грузовик свернул с шоссе и направился по проселку, ведущему к Спортивному казино.

— Эй, послушайте! Вы с ума сошли? Куда мы едем?— Клаудии охватил страх. Шофер, прильнув к рулю, следил за ней краем глаза, и бедной женщине показалось, что в его взгляде светится безумие.

— Остановитесь, я сойду здесь! Я дам вам денег! И она протянула ему сумочку.

Но Хорхе Роберто Родригесу не нужны были деньги.

С сатанинской улыбкой он остановил грузовик на обрыве, среди камней, усеявших песчаную землю, и повернулся к женщине.

— Что это с вами, кум?— кричала Клаудиа, пытаясь защититься от маньяка.

Словно стальные клещи стиснули ей запястья и вырвали из кабины. Некому было услышать крики несчастной «жрицы любви», когда садист разорвал на ней платье и, швырнув на песок, принялся топтать ногами.

— Пощады!— стонала бедная слабеющая женщина. Но Хорхе Роберто не успокоился на этом. Его толстые пальцы сомкнулись на шее Клаудии и сжимали ее все сильнее и сильнее.

Некому было услышать и последние предсмертные хрипы жертвы.

Маньяк тут же в песке вырыл яму, опустил туда тело Клаудии и засыпал его.

Дождь уже прекратился, когда грузовичок снова выехал на шоссе и двинулся в обратный путь. Вскоре машина свернула на ближайший хутор.

— Роберто, ты снова опоздал к ужину!

Жена крестьянина посмотрела на него с упреком. Но Роберто как ни в чем не бывало, несмотря на поздний час, спокойно уселся рядом с нею за стол. Он поужинал и лег спать.

Несколько часов спустя он вдруг вскочил, разбуженный шумом машин на дороге к хутору.

— Сумочка!— вспомнил преступник и поспешно оделся.

Роберто забыл в грузовике сумочку Клаудии.

Слома голову бросился он во двор и помчался к грузовику, чтобы избавиться от единственной улики.

— Скорее, скорее!— подгонял он себя.

Он успел открыть дверцу и схватить сумочку...

— Стой! Что у тебя там?

Луч электрического фонаря бьет ему в лицо.

Револьвер упирается в грудь. Роберто роняет сумочку, а из тьмы доносится голос:

— Та самая! Эта сумочка была у женщины!

Один из ночных сторожей Американской стальной компании заметил, как Клаудиа садилась в грузовик. Потом он обратил внимание, что машина резко свернула на боковую дорогу. Затем издалека до него донеслись слабые крики

несчастной. Встревоженный сторож известил полицию. Были обнаружены следы грузовика на проселочной дороге, и по ним полиция добралась до хутора, где и нашла Хорхе Роберто, пытавшегося спрятать выдававшую его сумочку.

Впрочем, полицию ждал еще один сюрприз. Видя, что его накрыли, Роберто заявил:

— Да, я убил эту женщину! И еще двоих, которых тоже встретил на шоссе! Все они зарыты там в песках, где я их прикончил! Я прозвал это место — мое кладбище!

Последующие расследования подтвердили слова преступного маньяка. Кроме тела Клаудии в песке были найдены еще два женских трупа, две женщины, убитые Хорхе Роберто.

Шоссе на Венто, проходящее по безлюдным местам, по-прежнему пустынно и бесприютно по ночам, и люди, если есть возможность, стараются избежать этой дороги...»

Бальбина глубоко вздохнула, вырвала страничку из журнала, пошла на кухню и сожгла ее. Потом она снова вернулась в залу, чтобы приглядеть за дочкой Клаудии.

## Полицейские

В один прекрасный день на улице появляется новый синий мундир. Люди понимающе переглядываются. Жизнь заставила нас, бедняков, пользоваться в таких случаях, чтобы не попасть впросак, своим собственным, бессловесным языком. Взглядом можно сказать все — взглядом и движением губ.

Представитель власти с изумлением обнаруживает однажды, что о его появлении известно всей улице, и пребывает некоторое время в недоумении по поводу того, как отнестись к этому факту. В конце концов он решает принять наш язык взглядов и жестов за проявление почтительности. И ошибается. Это сигнал об опасности и призыв не дать застать себя врасплох.

Полицейский приближается, тяжелые его башмаки стучат уже у порога лавки. Зловеще поблескивают кожаные гетры.

Тот же зловещий блеск исходит от длинновольного револьвера 45-го калибра и от толстой дубинки из махагуа\*, которая не раз гуляла по нашим спинам.

В лавке воцаряется глубокое молчание, у нас нет никакого желания говорить с полицейским. Но он снова принимает презрение за почтительность и снова ошибается. Люди косятся на него и откровенно смеются, когда полицейский стучит по прилавку песетой, от которой, как ему известно не хуже других, хозяин откажется с притворной улыбкой:

Улица окрестила новый синий мундир 321-м. Номер вышит на планке, которую он носит на левом кармане. Его толстое, круглое лицо, которому он тщетно старается придать добродушное выражение, не создано для улыбки, глаза прячутся в тени нависшего лба. И все же мы предпочитаем его 501-му. 501-й тяжел на руку, не терпит возражений, вздорен и распушен. Уже несколько раз он пытался силой вломиться в дом Клаудии.

Эти двое полицейских представляют на улице Магнолии вооруженные силы государства. Двадцать четыре часа своей власти они по-братски распределяют между собой. 501-й, как правило, дежурит с полуночи до полудня; 321-й -- с полудня до полуночи.

Платят им мало, но они компенсируют это мздой, взимая ее с винной лавки, лотереи, мясного магазина, бильярдной. бара Эладио и других торговых заведений улицы. Мы боимся их, но почтения к ним не питаем. Не проходит и дня, чтобы мы не упомянули мать 501-го самыми крепкими словами.

Он об этом знает

К 321-му мы снисходительнее. Его мать тоже упоминается, но не более одного раза в день. По ночам, когда дежурит 501-й, все уличные собаки поднимают громкий лай. А однажды кот Бальбины помочился ему в фуражку. Полицейский вытащил было револьвер, но Бальбина удержала его. Что она ему там шепнула на ухо, никто не знает, но, видно, что-то стоящее, раз он спрятал оружие, забрал фуражку и убрался восвояси, словно побитый пес. Было время, когда нам казалось, что полиция олицетворяет

\* Тропическое дерево с исключительно твердой древесиной.

порядок и безопасность, но скоро мы поняли, что это не так. Впрочем, был человек, которого они защищали,— Гильот Хапуга. И был человек, перед которым они испытывали страх: Красномордый.

Они поглядывали на него точно так же, как мы поглядывали на них,— незаметно, краем глаза. Он мог позволить себе что угодно, его они не трогали. Как-то днем, в приступе ярости, Красномордый принялся стрелять в Клаудину дверь; 321-й услышал выстрелы и тут же прибежал. «Прибежал» — это для красного словца, на самом деле он остановился на углу. В руках Красномордого еще дымился черный «стар». Полицейский трусливо спрятался за колонной. Он оставил улицу во власти этого бесноватого. Выдал ему нас со всеми потрохами. Спасовал в тот момент, когда люди действительно нуждались в его защите, когда матери сходили с ума в страхе за своих детей, а Клаудиа, дрожа от ужаса, робко выглядывала из-за жалюзи...

В течение многих лет мы боялись полиции.

Мы подавляли свой страх лишь во времена забастовок. Тогда 321-й и 501-й приезжали на полицейских джипах, в сопровождении других синих мундиров. 501-й источал злобу, 321-й, казалось, действовал не по своей воле. Но только оба они, так же как все остальные, избивали нас.

Я знаю это по себе, потому что они били меня, били моего отца, били моего деда, и не раз на нашей улице проливалась кровь тех, кто боролся за правое дело.

Эта кровь питала наш гнев.

Ведь они из того же теста, что и мы, они — дети бедняков, в их жилах та же кровь, что и у нас; кому как не им понять нашу нужду, обиды, возмущение. Но они поступили на службу к сильным мира сего.

Этого-то и нельзя простить: не прощается добровольная подлость. От холуйства недалеко до предательства. Предатель хуже врага. Он лжет, продает, глумится над нами. Не верит в силу разума. Вообще ни во что не верит. А потерявший веру — человек конченный. Таким людям нет снисхождения. Оказать им снисхождение все равно что оправдать предательство.

А этого не будет!

## Кинотеатр «Мехико»

*Здесь мы смотрели «Машину времени». Здесь восхищались Ким Новак и стреляли в Джесса Джеймса, когда он ночью напал на наш запряженный четверкой коней дилижанс.*

*Отсюда мы отправлялись на остров Окинава, высаживали там десант и вступали в бой с японцами.*

*Здесь поцеловали свою первую девушку.*

*Выкурили первую сигарету.*

*Здесь мы открыли, что под легкой девичьей блузкой таится теплый, зрелый плод, будто нагретый полдненным солнцем апельсин.*

*Мы шли сюда предаваться снам наяву.*

*Мы были пилотами, ковбоями, разведчиками и романтическими певцами, похожими на Карлоса Гарделя. Или лихими наездниками вроде Хорхе Негрете.*

*Здесь мы узнали, что в один прекрасный день можно отправиться в дальнее путешествие, а в другой прекрасный день вернуться, при восторженных кликах толпы, сидя за рулем шикарного белого авто рядом с прекрасной блондинкой.*

*И с балконов тебя осыплют конфетти.*

*И назовут «чемпион».*

*Затянутые в кожу, как Джеймс Дин\*, глядя на мир сквозь зеленые очки, мы носились сломя голову по дорогам в поисках смерти, смысла которой тогда не понимали.*

*Здесь на спинках стульев мы вырезали свои инициалы, переплетенные с инициалами бедной Лауры.*

*Здесь, читая надписи на стенах смрадной уборной, мы воочию убедились, что поэтическое вдохновение не знает преград.*

*И отрицать это осмелится только тот, кому не дано было прочесть следующие возвышенные строки:*

\* Джеймс Дин (1931—1955)— известный голливудский киноактер, воплотивший на экране черты представителей «разочарованного» поколения, чья юность пришлась на послевоенные годы. Погиб в автомобильной катастрофе.

В этом священном месте,  
что посещает столько народу...

*Здесь мы любили и ненавидели.*

*Здесь формировались и деформировались наши души.*

*Здесь на утренних сеансах мы забывали о своей бедности.*

*Здесь мы были владельцами Лэсси и Рин Тин Тина.*

*Здесь однажды раздался голос: «Да здравствует Индеец!»\* Это орал 501-й.*

## Выселение

Руфино локтями, белыми от известки, подтягивает сползающие брюки. Ему нужно сделать ровно девять шагов, чтобы выйти на тротуар. Из дверей дома улица кажется прямой лентой, бегущей до самого шоссе, там она упирается в деревянный забор, на котором по белому фону кричащими красными буквами выведено: «Гильот, советник». В октябре 1938 года Руфино стал моим дедом, и затем с небольшими перерывами он еще четырежды завоевывал это звание. Меня он любит, да и я к нему привязан. Тридцати четырех лет достаточно, чтобы понять, чего стоит жизнь человека. Так вот, мне бы хотелось рассказать о жизни своего деда.

Не о моей жизни рядом с ним, а о его — она уже клонилась к закату, когда моя только начиналась. Я шел ему на смену. Он умер, смерть придет и ко мне, и уже кто-то подрастает, чтобы сменить меня. И между нами троими жизнь породила токи взаимной любви. Она же научила нас смотреть вперед, в будущее, в завтрашний день. Хотя на долю деда выпало самое тяжелое.

Он терпеть не мог эту вывеску с фамилией Гильота. Впрочем, в те времена ему мало что было по душе. Но свою семью и свое дело дед любил. И еще в юности любил танцевать, а в старости

\* «Индийцем» называли Фульхенсио Батисту.

любил природу. Это от него я научился кидаться на траву, широко раскинув руки и ноги, чтобы ощутить под собой разом всю планету, а потом лежать, зажмурив глаза и прикрыв лицо локтем от жаркого солнца: в полутени так сладко мечтается — словно видишь сны наяву.

Еще дед любил улицу Магнолии. Многие из стоящих на ней домов орошены его потом — это он возводил их с помощью своего нехитрого мастерства. Фасады этих домов, похоже, и по сей день хранят память о гордых взглядах, которые дед, пока был жив, бросал на плоды своих трудов. На домах лежит печать его личности, его силы и хаотичности, взлетов фантазии и просчетов, его амбиции. Дома пережили деда, их колонны празднуют торжество жизни над смертью, и, пока они не рухнут, в них будет жить частица деда Руфино.

Однажды возле дома № 55 я увидел деда рядом с судебным исполнителем. Дед был бледен. Судебный исполнитель вручил ему какую-то бумагу. Дед вслух — он так и не сумел избавиться от привычки все читать вслух — прочел ее, и его бледность сменилась жгучим румянцем. За судебным исполнителем стоял китаец, за китайцем — 321-й. Стоило только деду толкнуть судебного исполнителя, как тот налетел бы на китайца, а китаец упал бы на полицейского. Именно так дед и поступил, а я разразился хохотом.

Я смеялся до тех пор, пока полицейский не вытащил дубинку и все не поменялись местами: 321-й встал прямо перед дедом, за ним — судебный исполнитель, за судебным исполнителем — китаец. Дед снова подтянул брюки белыми от известки локтями и пристально поглядел полицейскому в лицо.

— Я тебе сейчас морду набью,— пригрозил 321-й.

— Попробуй только, пришибу,— ответил дед.

Китаец высунулся из-за спины судебного исполнителя и сделал попытку заговорить, но дед остановил его. Я этим воспользовался и крикнул китайцу: «Педераст!» Дед, не глядя на меня, вымолвил:

— Даже ребенок знает, кто ты такой.

— Плати, старик, и не зли меня,— тихо сказал полицейский.

— Да у меня гроша ломаного нет,— ответил дед.

— В таком случае ищите себе другое жилье,— вмешался судебный исполнитель.

Я хотел было и его обругать и даже успел крикнуть: «Педе...», но тут дед рукой зажал мне рот. Потом он велел мне убираться, и я на несколько шагов отошел от них. Убедившись, что меня не видят, я наклонился и с садовой клумбы поднял увесистый камень. Дед между тем пытался уладить дело миром.

— Дайте мне сорок восемь часов, чтобы я мог раздобыть денег,— сказал он.

Судебный исполнитель глянул на китайца, тот отрицательно мотнул головой. Полицейский с дубинкой в руке ждал. Я подошел к деду и сунул камень ему в руку. По-прежнему не глядя на меня, он отбросил его.

— Хозяин настаивает на своем требовании,— заявил чиновник.

— Я не уйду,— быстро сказал дед.— Мне некуда идти.

— Черт возьми, старик. я же сказал: не зли...— повторил полицейский, но дед перебил его:

— Я не злю. Я защищаюсь, парень. Тебя бы на мое место.

Полицейский растерянно замолчал, тогда китаец выступил вперед и торопливо залопотал.

— В тюрьму, в тюрьму.

— Помолчите,— остановил китайца судебный исполнитель.— Мы сами знаем, что делать.

— За два дня я выкручусь,— стоял на своем дед.

— Послушайте,— обратился к нему судебный исполнитель,— я-то вас знаю еще с тех пор, как мальчишкой цеплялся за вашу повозку. Вся свою жизнь вы работали, я знаю. Но удача вам не давалась.

— Мне еще бесстыдство не давалось,— огрызнулся дед,— чтобы пристроиться к тепленькому местечку при правительстве, а потом приходиться и гнать на улицу отца семейства.

— Я требую к себе уважения,— рассердился судебный исполнитель.

— Я уважаю, коли меня уважают,— отрезал дед.

— Не устраивайте здесь базара,— вмешался полицейский.

— Все проще простого, блюститель,— отвечал дед.— Вы яв-

ляетесь получить с меня квартплату, а я сейчас заплатить не могу, хотя признаю, что задолжал. Клянусь, больше всего на свете я хотел бы выпутаться из этого дела, но у меня гроша ломаного нет. А уйти из этой лачуги я тоже не могу. — Он оглянулся на дом. — У меня семья, она не может ночевать на улице.

— Ну, и как теперь быть? — спросил полицейский.

— Тащите меня в кутузку.

— Значит, платить не будете? — переспросил судебный исполнитель.

— Почему же? Заплачу двумя днями каталажки.

Тут китаец начал соображать, что к чему, — какой ему толк, что дед Руфино отсидит в тюрьме два дня, ему нужны были деньги. Но представители власти заторопились.

— Ладно, старик, идем, — пригласил деда чиновник.

Дед посмотрел на меня и пригладил непослушную прядь, падавшую мне на лоб. Потом еще раз взглянул на дом и сказал:

— Скажи бабушке, что пару дней меня не будет дома. Пусть принесет мне одеяло. Она знает куда.

## Заметки, подводющие итог десятилетию (1950—1959)

1. ДЕД. Умер 1 ноября 1950-го. В этот вечер состоялась первая телевизионная передача в стране. Он так ее и не увидел, а она бы ему понравилась: старик всегда стоял за прогресс.

2. ОТЕЦ. Ему не привелось принять участие в борьбе против диктатуры и стать свидетелем победы над нею. Он не дожил до этого времени. Но, перед тем как его глаза закрылись навсегда, мы увидели в них свет надежды. Тот же свет сиял в глазах Хромого в день его смерти.

Дождливым майским вечером мы похоронили отца там же, где покоятся останки его матери, и оставили на его могиле все тот же глиняный кувшинчик с цветами.

3. БРОДЯГА. После смерти из обычной бродячей дворняги он превратился в нашего друга и единомышленника. Нам понрави-

лся его поступок. Сквер, где он зарыт, мы именуем «Бродягой».

4. **КЛАУДИА**. Принявшая мученическую смерть, она продолжала царить в сердцах мужчин нашей улицы.

5. **ЛОМБЕРТО**. Был министром, типичным продуктом того времени. Своими бесчинствами подливал масло в костер, разжигаемый желтой прессой.

Бесславно, не оставив следа, исчез во мраке десятилетия, которое, казалось, никогда не кончится.

6. **КРАСНОМОРДЫЙ**. При жизни грабил, убивал, насиловал. Сам тоже умер насильственной смертью. До сих пор в почтенных семьях говорят о тех, кто пошел по дурной дорожке: «Он как Красномордый». Красномордый как был, так и остался олицетворением худших человеческих пороков.

7. **ХРОМОЙ**. Умер так же достойно, как и жил, оставив по себе добрую память.

8. **СЕНЬОРИТА МЕРИ**. Еще одна потеря за эти десять лет. Мы долго не могли забыть ее самоубийства. Каталина говорила, что если дождливыми ночами посмотреть на верхушки сейб, то можно разглядеть чью-то белую фигуру, парящую в небе. Это сеньорита Мери летает по воздуху.

### День генерала\* и смерть Хромого

Из своей могилы Бродяга слышит над собой глухой рык льва, и его кости от испуга еще глубже зарываются в нутро земли. Слышит он также, как слон Думбо с утренней зари до сумерек, все двенадцать дневных часов, топчется по газону.

Если бы Бродяга был еще жив, он, конечно, залился бы радостным лаем при виде гирлянды стосвечовых лампочек, озаряющих вечером сквер, носящий его имя.

Да, в сквере Бродяги будет давать представления цирк!

Хромой запер свою бильярдную, не подозревая, что ему уже больше не доведется открыть ее. Он принялся раздавать нашей ребятне монетки по десять сентаво, бормоча: «Когда я был мальчишкой, не нашлось ни одной доброй души, чтобы дать мне хоть грош на посещение цирка».

Он распределял среди ребят деньги и сам смеялся, словно мальчишка.

В полдень явился 321-й и спросил хозяина. Ему указали на маленького тучного человечка в расстегнутой над выступающим брюшком рубашке. 321-й потребовал официального разрешения на спектакли, и человечек вынул его из кармана. Поли-

\* На дореволюционной Кубе — 4 августа, день рождения Фульхенсио Батисты.

цейский пробежал бумагу глазами, вернул ее хозяину и пристально уставился на него. «Что-нибудь не так?» — забеспокоился тот. «Да нет, все нормально». Хозяин спрятал документ, но полицейский не уходил. Наконец он вымолвил: «Нас на этой улице двое. Здесь, как и везде, есть хорошие люди, а есть и плохие. Никогда не знаешь, что может случиться. Получаем мы оба мало и не отказываемся, если есть возможность подработать. За небольшую плату можно договориться». Хозяин покорно улыбнулся: «Сколько?» 321-й поправил портупею: «По одному песо в день каждому». — «Ладно».

Вечером на арене издерганный криками детей слон Думбо отказался работать. Он не пожелал вставать на колени и не дал обезьянке Тимбе влезть себе на спину. Она было уцепилась ему за хвост, но он резко повернулся, стряхнул ее, да еще как следует наподдал хоботом. Укротитель пригрозил ему хлыстом, и слона вывели в темноту за шатер.

Лев вел себя лучше. Отягощенный годами, беззубый от старости зверь покорно выполнил все, что от него требовалось: вставал на банкетку, растягивался по земле, притворяясь мертвым, поднимался на задние лапы и, наконец, меланхоличным, заученным движением отпустил оплеуху тому самому укротителю, который двадцать минут назад грозил плеткой слону.

Представление закончилось скетчем. Его разыграли Галиснец, негр и мулатка. Роль Галисийца исполнял сам хозяин, мулатка днем не показывалась, и мы видели ее в первый раз, а негр до начала представления продавал билеты за окошечком кассы.

Так прошел первый вечер.

На следующее утро все мальчишки улицы Магнолии с рассветом были уже на ногах. Никто их не будил, но, засыпая, они мечтали, как еще раз пойдут в цирк и вблизи хорошенько рассмотрят «артистов».

В этот день, а было как раз 4 августа, 501-й и 321-й неизвестно почему поменялись сменами. 501-й явился с большим значком на груди и сказал, что это изображение знамени. Знамя было пятицветное: красное, желтое, черное, зеленое и

голубое. «Это личный флаг моего президента. Флаг Индейца», — охотно пояснял он желающим.

День как пришел, так и ушел, не спрашивая ни у кого разрешения, и наступил вечер. Снова зажглись лампочки. Хромого, как всегда, окружали дети. Он опять роздал им деньги и вошел с ними в шатер, чтобы занять места поближе. 501-му тоже взбрело на ум посетить представление.

Но он-то, конечно, не подумал взять билет, а только сверху вниз взглянул на негра и важно изрек: «Я иду инспектировать». Затем он прошел вперед и уселся в первом ряду.

Хромой посмотрел на его значок и нахмурился.

Ровно в девять часов и двенадцать минут началось представление. На этот раз все шло хорошо, даже Думбо тяжело протрусил по арене с обезьянкой на спине.

Но вот начался скетч. Галисиец всячески обхаживал мулатку, а негр комментировал их диалог. Взрослые хохотали до упаду, а 501-й время от времени отпускал какую-нибудь непристойность. Вдруг негр шепнул Галисийцу:

— Слушай, шеф. Пахнет гарью.

Галисиец рассеянно взглянул на него. Он подумал, что негр его разыгрывает.

— Если кто и горит, так это ты сам.

Негр сморщил нос, повел им из стороны в сторону и повторил:

— Шеф, я тебе серьезно говорю, что-то горит.

Галисиец то ли не понял, то ли не расслышал его и, уперев руки в бока, снова обратился к публике со словами роли:

— Посмотрите только на этого болвана. Все никак букв не выучит, бестолочь!

Люди рассмеялись, но смех оборвался, когда раздался громкий крик:

— Пожар!

Люди бросились к выходу, шатер пылал. Сразу стало жарко. Хромой помогал ребятишкам перебраться в свободный от стульев проход, ведущий к дверям. У выхода образовалась толкучка, каждый торопился поскорей вырваться на улицу.

Галисиец и негр кричали и опрокидывали ведра воды на

огонь, который никак не унимался. Увидев, что дети вне опасности, Хромой тоже решил уйти.

Вдруг он почувствовал на своем плече чью-то руку.

— Хромой, ты арестован,— сказал 501-й.

— За что?

— За поджог. Это ты устроил пожар. Я за тобой с самого начала слежу. И сделал ты это специально, потому что сегодня День генерала.

Хромой умер от побоев, нанесенных ему в полицейском участке. 501-й увел его с собою и передал в руки капитана, которого на улице называли Мулатом. Тот встретил Хромого с улыбкой.

— Стало быть, это ты поджег.

— Нет, не я, капитан,— возразил Хромой.

— Тогда кто же?

— А я откуда знаю? Должно быть, несчастный случай.

— Я тебе не верю, Хромой. Все вы, калеки, дрянь народ. У вас низменные инстинкты.

Капитан умел сбивать арестантов с толку. К этому же приему он через несколько дней прибегнет с Тыквой. Но Хромой никак не мог уразуметь, что общего между его увечной ногой и пожаром в цирке.

— Я знаю, что говорю,— уверенно повторил капитан, словно догадываясь о растерянности Хромого.— Чахоточные, хромые и слепые — дрянь народ. Их сам бог наказал. Недаром он наслал на вас эти беды.

Потом началось избиение.

Капитанский кулак обрушился на здоровое ухо Хромого. Большой бриллиантовый перстень пробил глубокую кровоточащую рану у него на виске. Потом пришла очередь 501-го: он двинул Хромого в челюсть и, опрокинув стул, рванул его назад, так что Хромой растянулся во всю длину на гранитных плитах пола. Капитан приказал арестованному встать, но Хромой не услышал приказа, кроме того, он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Пока 501-й с трудом пытался поднять его, в комнату вошли еще двое полицейских и всем вместе им

удалось кое-как поставить его на ноги. Голова Хромого, словно у безбородого Христа, склонилась на правое плечо, и тут на прощанье, как бы завершая первый допрос, Мулат кулаком ударил его в живот, одновременно наотмашь хлестнув по лицу. Хромой издал короткий, похожий на предсмертный хрип звук, а капитан произнес только одно слово:

— Убрать!

Остальные допросы были точным повторением первого, только теперь уже Хромым занимались подчиненные капитана. Сам он Хромого больше не видел. Так он и сказал Бальбине, когда она пришла в участок поинтересоваться, что же произошло с арестованным. «Представьте себе, сеньора, у меня из головы вылетело, что этот человек сидит у нас, — сказал капитан. — Уверяю вас, у меня очень хлопотная должность. За всем не уследишь. Вполне вероятно, что его били. Порой мои люди теряют терпение». Бальбина попросила разрешения увидеться с Хромым, но Мулат, положив ей руку на плечо, проводил к выходу. «Предоставьте все мне. Я обещаю вам, что сегодня же вечером отпущу его и строго накажу виновных. Приходится буквально удерживать людей за руку, иначе к чему же мы придем». Он улыбнулся и повернулся спиной.

Вечером Хромой с обезображенным побоями лицом появился на улице. У него так распухли губы, что он не мог вымолвить ни слова. Хулио сделал ему примочку из арники, а Бальбина забрала к себе домой. «Тут ты, черт возьми, и останешься, пока не встанешь на ноги». Мы пришли к Бальбине повидаться с Хромым, и впервые в жизни Вегита грязно выругался в присутствии женщины: «Этот Мулат, мать его... Вы только посмотрите, что они сделали с беднягой». Вечером 501-й прогуливался по улице с двумя новенькими лычками на мундире.

О Хромом трогательно заботились, но все оказалось тщетным. День ото дня ему становилось все хуже: едва спала опухоль, как появился частый, лихорадочный, разрывающий грудь кашель. Мы догадывались, что это за симптомы, но молчали, делая вид, что все в порядке. Но грустный, все понимающий взгляд Хромого говорил нам о том, что он знает о своем туберкулезе.

Он протянул недолго, от силы пару месяцев.

Почувствовав приближение смерти, Хромой позвал нас и сказал, что у него есть тайна. Бальбина подумала было, что речь идет о деньгах, и шепнула ему на ухо: «Давай-ка, Хромой, без этих штучек. Здесь тебя любят не за твои деньги. Какого черта ты о нас так плохо думаешь!» Но Хромой улыбнулся и отрицательно покачал головой.

То, что он открыл нам, было так удивительно, что мы с трудом верили своим ушам. Он сказал, что в столике бильярдной у него спрятано знамя и ему бы хотелось, чтобы этим знаменем накрыли его в гробу. Еще он сказал, что всю свою жизнь был верен одной идее, одному делу и поэтому умирает с чистой совестью, сожалея лишь о том, что не довелось прожить дольше, хотелось бы хоть одним глазом глянуть на новую жизнь, которая уже стоит почти у самого порога там, за углом.

С этими словами Хромой умер. Мы пошли в бильярдную и открыли ящик его стола. Там лежало красное знамя с неумело вышитыми на нем серпом и молотом. Им мы и покрыли тело, выпростав руки так, что казалось, пальцы Хромого ласкают флаг. В ночь бдения над гробом пришла группа незнакомых нам людей. Они молча встали в почетный караул. Бальбина поила их кофе и кое с кем из них перебросилась несколькими словами.

На кладбище один из этих людей произнес прощальное слово, коротко рассказав о жизни Хромого. Мы и представления о ней не имели. Оказывается, его бросали в тюрьмы, он подвергался преследованиям, испытывал нужду и лишения, но никогда не терял мужества и совершал много смелых поступков. Оратор закончил свою речь словами: «Спасибо, что вы пришли проводить его в последний путь». Потом его товарищи запели. Только несколько лет спустя мы узнали, что они пели.

У песни было длинное название: «Интернационал».

## **Первое собрание: нас посвящают в тайну**

Возвращаясь с похорон Хромого, мы обсуждали три вещи:

1. Речь неизвестного, который столько нового открыл нам о жизни нашего умершего друга.

2. Песнь, гимн, марш или как там называется то, что пели, взявшись за руки и подняв их над головой, друзья Хромого. Бальбина тоже пела вместе с ними, устремив взгляд за горизонт.

3. Поступок Фермина.

По поводу третьего пункта мы терялись в догадках. Что заставило этого затворника покинуть свое уединение? Фермин для нас, молодых, долго был загадкой. Мы первый раз в жизни увидели его загорелое, изрытое морщинами лицо с ясными глазами. Впервые он предстал перед нами без своих собак. Войдя в дом, он долго беседовал с Бальбиной и таинственными людьми, неожиданно пришедшими на похороны Хромого.

Затем он встал у гроба и долго молча смотрел на Хромого, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти его лицо. Когда он отошел, незнакомцы приблизились к нему, уважительно поздоровались и, заботливо придерживая за плечи, уже согнутые годами, подвели к креслу.

Иногда Фермин спрашивал о ком-нибудь из первых поселенцев Магнолии.

Когда ему отвечали, что такого-то нет в живых, Фермин, поднимая брови и с выражением покорности неизбежному, печально кивал головой.

Он подозвал к себе дочку Клаудии:

— Я тебя знаю. Ты дочь самой красивой женщины на улице Магнолии. А где Клаудия?

— Мама умерла,— ответила девочка.

Старик округлил губы, как бы произнеся «О», потом сомкнул их и грустно склонил голову. Девочка поцеловала его в щеку.

В дверях появился Сантамариа. Фермин, не вставая с кресла, раскрыл ему объятия и улыбнулся. Остальные тут же отошли в сторону. Никто так и не узнал, что они сказали друг другу, но одно не оставляло сомнений: о чем бы они ни говорили, между ними царил полное согласие. Потом старик Сантамариа крепко пожал Фермину руку и вышел на улицу; глаза его сияли каким-то новым светом.

Так в течение всей ночи символ Фермин, легенда Фермин, загадка Фермин был с нами. Не раз нам хотелось подойти к нему, но страх, который он внушал в детстве, еще жил в нашем сознании, и это мешало. Я не решался посмотреть ему прямо в лицо и только поглядывал изредка сбоку, стараясь разглядеть в его облике особые приметы человека, который был душой первой забастовки против Компании. Но передо мной было обычное лицо старика, изрезанное множеством морщин и напоминающее по форме сердце.

Его таинственное появление потом еще долго будоражило нас. Но тайна разъяснилась, лишь когда Хулио Китаец созвал нашу группу на первую сходку. Он заявил:

— На сегодняшний день здесь, кроме нас, есть только два человека, которым мы доверяем, но они стоят многих,— это старик Сантамариа и Фермин, тот самый старый Фермин, что разводит сторожевых собак в монастыре.

## Как на улице появилось оружие

Именно оттуда, из монастырского сада, мы и получили первое оружие.

«Фермин во время бдения над гробом Хромого,— сказал нам Хулио,— поставил одно условие: он зарует оружие в саду, а уж как мы его добудем — не его дело. За своих собак он не ручается. Он говорит, что ни за что на свете не будет держать овчарку на привязи. Так что берегитесь его зверей».

И вот трое молодых людей идут за оружием. Они ползут по тропинке между грядок, тянущейся за церковью для бедных. Издали доносится лай сторожевых псов Фермина. Над головой ветер колышет цветы и ветви кустарников.

— Здесь,— шепчет наконец Тыква.

Три распростертых на земле человека, осторожно поворачивая голову, осматриваются, подтягивают ноги и приподнимаются на корточки.

— Скоро рассветет,— шепчет Тыква,— надо торопиться. Оно зарыто здесь, под этой веткой. Копайте прямо руками.

Они погружают руки в землю, разгребают траву, откладывают в сторону камешки, роют еще несколько минут, пока Тыква не останавливает:

— Вот оно.

Шесть рук нащупывают что-то твердое, в пластиковом мешке. Медленно, обдирая пальцы, закусив от напряжения губы, тянут мешок наверх. У Тыквы вырывается ругательство. Секунду спустя сверток уже на поверхности земли.

— Теперь засыпайте,— велит Тыква.

Сам он, озираясь по сторонам, отряхивает прилипшую к мешку землю. Из-за церкви выглядывает далекий, бледный луч солнца. Утрамбовав землю, товарищи вопросительно смотрят на Тыкву.

— Пошли,— говорит он,— дотащим пакет до изгороди, там поделим оружие и зароем упаковку.

Один из них собрался было спросить, почему не закопать коробку и пластиковый мешок прямо здесь, в этой же яме, так легче, но Тыква, предупреждая вопрос, поясняет:

— Здесь нельзя, собаки могут почуять. Зароем по ту сторону колючей проволоки. За нее они не выходят. Пошли.

Они снова ползут. Порою собачий лай раздается совсем рядом. Тыква оглядывается и подгоняет своих спутников. Из-за церкви поднимается солнце, но западная часть сада еще в тени.

Подле ограды трое останавливаются.

— Здесь. Скорее, ребята. Сейчас пойдут на работу в Компанию.

Один из троих приподнимает проволоку, Тыква с помощью друзей протаскивает под ней пакет. Теперь работа идет быстрее. Снимают мешок, открывают ящик и распределяют между собой револьверы. Потом вырывают узкую, глубокую яму, бросают в нее ящик и мешок, закидывают все землю.

Звучат чьи-то голоса и шаги. Тыква и его товарищи бросаются на мокрую от росы землю и плотно прижимаются к ней. Дымя сигаретами и покашливая, проходят трое рабочих. Когда они скрываются из виду, Тыква вскакивает.

— Ну, дело сделано, ребята. Я вас не видел, и вы меня тоже. Оружие передадите связным. Пока!

Трое молодых людей расходятся в разных направлениях. Уже почти совсем рассвело. Двое теряются в боковых переулочках, а Тыква шагает дальше вверх по улице. Через некоторое время он быстро сворачивает в проход между домами, подходит к одной из дверей, оглядывается и стучит три раза.

— Кто там?

— Я, Тыква

Дверь отворяется:

— Как ты поздно!

— Проклятые Ферминовы псы не дрыхнут. Мы в сад еле пробрались.

— Все сошло удачно?

— Порядок! Вот, я принес. — Тыква передает оружие человеку, находящемуся в комнате.

— А остальное, Тыква?

— Есть и остальное, не волнуйся.

— Ладно, иди

— А ты?

— Я потом. Пока

Снова открывается дверь, и Тыква выходит из дома. Острее чувствуется утренний холод. Тыква выбирается на улицу и продолжает свой путь. Он миновал уже четыре квартала, когда выскочившая из-за угла машина преграждает ему дорогу.

«Черт, полицейская,— думает Тыква.— При мне ничего нет»,— мелькает затем спасительная мысль. Он успокаивается.

Открывается дверца, из машины высовывается 501-й.

— Садись. Тыква, тебя ждет капитан.

## Первая акция

Всей улице Магнолии было хорошо известно: в течение многих лет револьверы носили с собой всего три человека — 501-й, 321-й и Красномордый. У Гильота тоже был револьвер, но он держал его дома. Поэтому, когда на улице раздавался выстрел, не было сомнения, что стрелял кто-либо из этой троицы.

На этот счет трудно было ошибиться.

Например, однажды 501-й ранил младшего сына Привиденьица. Стрелял он в него по ошибке, но выстрел был сделан в упор. Потом 501-й пришел объясняться с отцом: «Он вдруг выскочил на меня. Было уже темно, хоть глаз выколи, и мне показалось, что это один из каналий-негров, которых теперь до черта развелось вокруг. Когда он закричал, я понял, что ошибся. Прощения я у тебя не прошу. Власть есть власть, сам знаешь, и ей положено стрелять в кого бы то ни было. Но мне, конечно, жаль, что так получилось». Полицейский весело рассмеялся: «А будь он чуть повыше, я бы его прикончил. Слава богу, что он такой маленький». Привиденьице не придал этой истории особого значения, но слышал, как 501-й, уходя, бормотал: «Один негр у меня уже есть на счету. Терпеть я их не могу. У меня прямо руки чешутся прикончить еще хоть одного».

В другой раз ночная тишина взорвалась от выстрелов Красномордого. Выстрелы доносились с перекрестка, оттуда, где улица пересекается с шоссе.

Выскочившие из домов встревоженные люди увидели Красномордого с дымящимся револьвером в руке. Он был вдребезги пьян, и его поддерживал один из телохранителей. Остальные двое стояли у дверцы автомобиля. На тротуаре истекал кровью человек, которому пуля попала прямо в лоб. Он был одет в синий, в полоску, костюм, мы его не знали. Левая рука согнута и придавлена тяжестью тела, правая застыла так, словно перед смертью он пытался что-то достать из кармана пиджака.

— Обыскать!— приказал Красномордый поддерживающему его телохранителю.

Тот подошел к умирающему, расстегнул на нем одежду и ощупал ее. Нашел во внутреннем кармане маленький женский пистолет, спрятал его у себя и поспешил на помощь к своему пьяному вдрызг шефу, который, спотыкаясь, брел к машине. Он было попытался поскорее увести хозяина, но Красномордый резко оттолкнул его и повернулся лицом к улице.

Окна и двери домов тут же закрылись, но остались открытыми наши уши.

— Это я убил его, слышите? Я — Красномордый!— огласил

он своим ревом ночную улицу.— Я убил его, и он сдох. И плевать мне на него тысячу и один раз! Плевать я хотел и на него, и на всех вас, и на вашу полицию!— Потом его стало рвать, и телохранителям наконец удалось водворить его на заднее сиденье машины. Мы так и не узнали, кто этой же ночью унес тело убитого. Наутро его там уже не было.

Шли пятидесятые годы. Когда раздался первый выстрел, большинство решило: «Это 501-й». Правда, нашелся человек, который назвал было Красномордого, но это по старой памяти — Красномордого к тому времени уже убили.

За первым выстрелом прозвучал второй.

Пожалуй, тут дело не шуточное, пришла к выводу улица.

Бальбина приоткрыла дверь и увидела 501-го, укрывшегося за колонной. Он в кого-то стрелял, и из темноты доносились звуки ответных выстрелов.

Люди первым делом потушили лампочки в подъездах. 501-й снял фуражку и присел на корточки. Со стороны ничейной земли выстрелили еще раз, пятый. «Пять выстрелов — это уже перестрелка»,— решила старуха и, невозмутимо захлопнув дверь, прошла во дворик, расположенный позади дома.

Там Бальбина выглянула за каменную ограду и внимательно всмотрелась в темноту. Во мраке медленно двигалась белая гуайавера\*. Старуха напрягла зрение, стараясь распознать, кто же это, потом окликнула: «Эй, ты, давай сюда!» Гуайавера молчала. Она снова позвала: «Давай через мой двор, отсюда легче убежать!» Но белая фигура с быстротой молнии пересекла улицу, проскользнула к загородке сада и затерялась в ночи.

Бальбина бросилась к двери и включила электричество. Осветились и остальные дома. Народ хлынул на улицу; люди искали 501-го, но тщетно. Он исчез. Нашли только его фуражку, валявшуюся у входа в лавку. На следующий день стена большого здания «Канаве» раскрыла нам тайну ночных событий. Чья-то рука вывела на ней: «Батиста — убий...»

Перестрелка помешала неизвестному закончить надпись.

\* Куртка из легкой ткани или рубашка, которую носят навыпуск.

## У искушения на погонах три полоски

Первый и единственный арест Тыквы оказался лишь приятной прогулкой. 501-й на полицейской машине привез его в участок и сказал, что его ждет капитан. Тот появился только в десять, и до его прихода Тыкву никуда не отпускали.

Он развлекался, наблюдая, как вокруг снуют полицейские, толпятся посетители, приводят и уводят задержанных. Тыква не знал, какими уликами против него располагает полиция, и в утешение себе мысленно повторял без конца одну и ту же фразу: «При мне ничего нет».

Батиста с белой лентой через плечо и зализанными назад прямыми волосами, казался, улыбался ему со стены. Так, значит, вот он, Правитель!

В десять пришел капитан, взглянул на Тыкву и спросил:

— Тыква — это ты?

— Я самый.

— Иди за мной в...

— Но что такого я сделал, капитан?

— ...мой кабинет. Ничего тебе не будет.

— Я послал за тобой, потому что у меня есть тут одно дельце,— сказал Мулат. Ссутулясь, он уселся на стул. Три белые полоски сверкали на его синих погонах.

Тыква молча слушал.

— На улице Магнолии беспокойно. Пока еще мы хозяева положения, но у вас там бушует целое подземное море. Народ косо смотрит на полицию. Какой-то тип настолько обнаглел, что стрелял в нашего сотрудника. Мне нужны агенты, которые извещали бы меня о том, что происходит. Так сказать, информаторы изнутри.

Услыхав слово «агенты», Тыква сначала толком не понял, в чем дело, но потом, когда капитан заговорил об «информаторах», до него наконец дошло, чего от него хотят.

— Я не стукач, капи.

— А нам и не нужны стукачи.

— Вы же мне как раз это и предлагаете.

— Пойми правильно, парень. Я сказал «агенты». У тебя на

улице много приятелей. Ты знаешь людей: кто чем занимается, с кем водится, что думает. Будешь давать нам эту информацию, станешь жить по-другому. Я ведь знаю, тебе туго приходится. Эта нищенская жизнь не пристала такому умному человеку, как ты.— Тыкву еще никогда никто не называл «умным».

— Да я ведь только осел в галстук, капи.

— Почему?

— По многим причинам: я неуч, никакого дела не знаю. Живу себе как придется.

— Ты себя недооцениваешь. Я вот тоже не учился, и профессии у меня никакой нет. Впрочем, полицейский — это профессия, не так ли?— Тыква утвердительно кивнул головой.— Она открывает большие возможности для карьеры. Пока Правитель там, наверху,— Тыква посмотрел на второй портрет Батисты, висящий на другой стене,— быть полицейским — разлюбезное дело. Есть в этом свой риск, конечно, ну и что? Зато с тобой считаются и ты зашибаешь деньгу, да еще какую. Тебе что, не хочется пожить в свое удовольствие?

— Хочется, капи. Кому же не хочется?

— Это самое главное. Иди и хорошенько подумай, Тыква. У меня тут для тебя приготовлен чек. Если мы с тобой столкнемся, каждый месяц будешь получать такой. Кофе уже пил?— Тыква отрицательно мотнул головой.— Тогда прошу.

Капитан поднялся со стула, подошел к маленькому столику, открыл термос и налил одну чашечку, потом другую. Взял обе чашечки в руки, подошел к Тыкве и протянул ему одну. Горячий нектар, скользнувший по пищеводу и согревший желудок, взбодрил Тыкву. Тыква вышел на шоссе. Полдень уже наступил, и лучи солнца отвесно падали на асфальт. Он добрался до дома и, отказавшись от обеда, лег в постель. Матери он сказал, что плохо себя чувствует.

Так оно и было.

## Китайцы

После полуночи китайцы тихонько возвращаются домой. Им

не хочется, чтобы соседи видели, как они идут из своего китайского квартала. Один за другим они подходят к своим домам, бесшумно открывают двери и, оглянувшись по сторонам, переступают порог. По утрам, пригладив и напوماдив густые волосы, они снова появляются на улице и спешат к своим прилавкам.

Их квартал расположен в центре Гаваны. Узкие улочки, застроенные серыми домами, на тротуарах — старые газеты, которые китайцы подкладывают под свои тощие ягодицы. В квартале есть кинотеатр, начинающий работать в час дня, где показывают только китайские фильмы, по слухам порнографические, но мы туда не ходили.

По субботам мы посещали другой кинотеатр, с китайским названием «Шанхай». Там было полным-полно американских матросов, и кинозал служил как бы преддверием публичного дома: выходя из него, мы попадали прямо в объятия проституток.

Китайцы предпочитали негритянок.

Янки — молоденьких мулаток.

На нашу долю оставались самые старые из белых девиц — они были дешевле остальных.

Между нами и китайцами не водилось дружбы. Мы просто мирились с тем, что они есть. И я не знаю, презирали они нас или боялись. Лишь с появлением Хулио удалось пробить брешь в этой стене.

Хулио был маленький, живой китаец, совсем не робкого десятка, и, если дело доходило до драки, он бил наотмашь, ребром ладони. С одного удара он мог расколоть кирпич надвое; в Гонконге Хулио служил полицейским и знал приемы каратэ.

Он чем-то отличался от местных китайцев. Ему нравились кубинская музыка и белые девушки с улицы Магнолии. Казалось, Хулио был свободен от комплекса, который сковывал и отрезал от нас его соплеменников, чувствовавших себя чужаками на Кубе. Еще его приводили в восторг соленые аңекдоты.

Наутро после ночной перестрелки, когда мы все ознакомились

с незаконченной надписью на стене здания «Канаве», Хулио появился в своей лавочке с перевязанной левой рукой. Бальбина тотчас заметила это и долго пристально, не менее тридцати секунд, смотрела ему прямо в глаза. Китаец сглотнул сухой комок в горле, но выдержал ее взгляд.

— Это откуда?— тихо спросила она.

— Да вот вчера вечером возвращался из квартала пьяный,— ответил Хулио,— и, когда сходил с автобуса, расшиб руку о столб.

Но Бальбина продолжала сверлить его орлиным взглядом.

— Вчера вечером... А что на тебе было надето?

— В чем дело? Что тебе нужно, Бальбина?— рассердился Китаец.

— Я хочу знать, была ли на тебе белая гуайавера.

Хулио промолчал. Бальбина продолжала что-то говорить, но он больше не слушал ее и принялся располагать на витрине банки со сгущенным молоком. Он ставил их на ребро, и они, пренебрегая законом земного притяжения, так и оставались в наклонном положении, словно подвешенные на невидимых нитях, протянувшихся с потолка. Это было чудо композиции и вкуса.

Наконец Бальбине надоело его выпрашивать и, сердито ворча, она ушла домой.

*Говорят, на родине Хулио смерть и время — понятия совсем иные, чем у нас. Смерть — это лишь преходящее, недолговечное, обратимое отсутствие. Из смерти можно вернуться. Надо только уметь отыскать дорогу. То же самое и со временем. Оно бежит, и нам, людям, никогда его не обогнать. Время — судья и врач: оно всему выносит свой приговор, всем правит и все излечивает. У времени и у смерти лица женщин. У смерти оно бледное и сердитое, потому что она никак не может примириться со своим ремеслом. У времени лицо четырнадцатилетней девушки: весной оно зеленое и улыбочливое; летом — красное; осенью — сиреневое; зимою — синее и грустное. Но это всегда лицо юной девушки. Так и должно быть, время не стареет, оно священо. Тот, кто противится ему, будет сломлен, кто пытается обогнать его, знает наперед,*

*что ему конец. Время неминуемо настигнет его и бросит в черную ночь забвения. А ночь забвения — близкая родственница ночи смерти.*

Может, поэтому так трудно сказать, сколько было Хулио лет — тридцать, тридцать пять, сорок два. Нет, тут невозможно что-либо утверждать. Хулио — друг времени и пользуется его покровительством. Время его избаловало, и нам оставалось только верить ему на слово, когда он говорил, что ему ровно тридцать шесть, не больше и не меньше.

Итак, ему было тридцать шесть, когда Бальбина принялась ломать голову над его перевязанной рукой. Старуха никому не рассказывала о своих подозрениях, но, приходя в лавку, смотрела на Хулио так, словно знает о нем всю подноготную.

— Она глядит на меня, будто видела меня в одних трусах, — жаловался он.

— Будто видела тебя однажды ночью в белой гуайавере, — негромко поправляла его Бальбина, — с револьвером вот в этой забинтованной руке.

И уходила, как всегда ворча и ругаясь: ее сердило, что Хулио ей не доверяет.

## Раулито

Подлинная ценность человека измеряется не числом прожитых лет и не высотой роста, а тем, как он ведет себя в трудных обстоятельствах и как относится к жизни. Человеческая ценность измеряется также способностью к любви и верностью сердца в минуту испытаний. Когда ребенок, взрослея, осматривается, начинает размышлять над жизнью и приходит к решению во что бы то ни стало выполнить свой долг на земле, он становится человеком. Таков Раулито.

И о его поступке долго будут помнить на улице Магнолии. Лепестками цветка распустились его четырнадцать лет навстречу жизни, преисполненной опасностей и борьбы. Борьбы за свободу, свет которой он впервые увидел в глазах Хромого в день его смерти.

«Эта борзая доброй породы», — говорила о нем Бальбина, имея в виду боевую биографию Вегиты — дяди Раулито. Она ласково ерошила мальчику волосы и целовала в щеки.

Когда мы шли на дело, Хулио старался беречь Раулито, поручал ему менее опасные задания, чтобы не подвергать риску его юную жизнь. Ведь Раулито мог погибнуть, так и не издав объятий женщины...

Раулито не возражал командиру.

Но в разгар операции он бросался в самую гущу схватки и не раз приходил на помощь своим товарищам в самую критическую минуту. Но об этом люди узнавали от кого угодно, только не от него. Его уста никогда не размыкались для того, чтобы говорить о самом себе.

На первое оружие, попавшее ему в руки, Раулито взглянул с неприязнью. Это был один из револьверов, которыми снабдил нас Фермин и которые извлекли из сухой монастырской земли Тыква с двумя товарищами. Раулито посмотрел на пистолет и сказал: «Как жаль, что приходится пускать его в ход». Хулио поглядел на мальчика растерянно. Тогда Раулито объяснил: «Я хочу сказать, что лучше учиться в школе, чем стрелять». Мы все его поняли. Только Тыква не понял и рассмеялся. Но Раулито не обратил на него внимания.

У него было одно бесценное свойство — он умел сосредоточиваться на самом главном и не отвлекаться на пустяки. При всем при том Раулито никогда не пасовал перед противником, а в случае необходимости пускал в ход и кулаки. Однажды благодаря ему одного из телохранителей Гильота раз и навсегда отстранили от службы.

Эту историю можно разделить на два этапа.

Первый: тот тип влюбился в единственную сестру Раулито — Луису. Только он ошибся, думая, что его ждет легкая победа и приятное приключение. Луиса отвергла его домогательства, и однажды поздно вечером, когда она возвращалась из Астурийского центра, где училась на машинистку, он встретил ее на дороге и попытался насильно затащить к себе. Девушка стала сопротивляться, и телохранитель ударил ее по щеке, да так, что она потом два дня ходила с распухшим лицом.

Раулито потребовал, чтобы Луиса объяснила ему, что произошло. Сперва она не захотела ничего рассказывать и отказалась назвать имя обидчика, но брату удалось уговорить ее. Выслушав сестру, Раулито надолго замолк; весь день он просидел дома, дочитывая «Золотой возраст»\*.

Второй этап: спустились сумерки, Раулито оделся и направился в бар Эладио. Вошел в зал и принялся разыскивать среди посетителей человека Гильота. Увидев его, подошел и сказал: «Встань. Я хочу поговорить с тобой». Тот отодвинул рюмку и поднялся из-за стола. Тогда Раулито отвел назад правую руку и влепил ему в левую щеку звонкую оплеуху. В баре воцарилась мертвая тишина, и посетители отчетливо расслышали, как Раулито сказал телохранителю: «Это тебе от моей сестры». Тот, совершенно оторопевший от того, что увидел, услышал и испытал, ничего не ответил.

Не моргнув глазом Раулито поднял левую руку и выдал ему вторую оплеуху, по правой щеке: «А это тебе от меня. Теперь можешь меня убить, если у тебя хватит духу».

Прошло секунд пятнадцать, охранник Гильота поднес было руку к ремню и попытался вытащить оружие, но его удержали. Он потерянно вертел головой и переминался с ноги на ногу. Раулито не двигался с места. Наконец, по требованию Эладио, телохранителя вытолкали из бара и запихнули в машину, которая тут же с ревом рванула с места. Только после этого Раулито ушел.

На следующий день, узнав о случившемся, Гильот вызвал своего подчиненного, вручил ему чек и прогнал взащей, предупредив: «Заруби себе на насу: чтобы с этим мальчишкой ничего не случилось! Он поступил правильно. Люблю таких смельчаков». Телохранитель ушел, и его никогда больше не видели в нашем квартале.

Этим поступком Раулито завоевал себе огромный авторитет, который позже сослужил ему хорошую службу в революционной борьбе.

\* Журнал для детей и юношества, который издавал Хосе Марти в 1899 году.

## Мы заявляем о себе

Хулио все-таки открылся Бальбине, разумеется получив на это разрешение своих товарищей. Сообщил он ей не все. Сказал ей только, что он сам, Раулито, Тыква и я занимаемся революционной деятельностью. «Кто еще?»—спросила старуха. «Еще кое-кто с нашей улицы,—ответил Китаец,—только не спрашивай меня о них». «Но ты-то их знаешь?»—настаивала она. «Знаю, но тебе назвать не могу».

Чертыхнувшись сквозь зубы, старуха спросила: «А от меня чего вы хотите?»—«На одну ночь нужен твой дом, старая».—«Мне что ж, уйти?»—«Да, ты уйдешь и оставишь нас здесь. Это всего на одну ночь. Нам надо приготовить петарды». Бальбина воспротивилась было и заявила, что ей вовсе незачем покидать свое жилье, но Хулио растолковал, как опасно готовить петарды, что, возможно, придется сделать несколько бомб и что поэтому ей нельзя оставаться—всякое может случиться.

— Ладно, уговорил. Когда?

— Сегодня ночью, Бальбина.

— О-ка\*. Приходите, меня не будет. С десяти вечера дом в вашем распоряжении. Вот ключ.

Хулио, поблагодарив, взял его. «На черта мне твоя благодарность»,—проворчала Бальбина. Она угостила его кофе и проводила до двери. В десять часов старуха ушла, и мы заняли дом.

Мы работали почти до самого рассвета, затем, поделив между собой груз, осторожно вышли через задний дворик. Ночь стояла темная и пасмурная, вот-вот пойдет дождь.

Первыми взорвались бомбы Хулио на другом конце улицы. Мои бомбы перебудили сеньорит из монастыря и всю семью Магдалены, которая утром обнаружила возле своего дома вырванный с корнем телефонный столб. Последними прогремели взрывы племянника Вегиты (Раулито): они снесли половину лица Джону Уэйну на рекламном щите кинотеатра.

\* Искаженное «о,кэй».

Едва рассвело, Бальбина высунулась из дверей дома и увидела, что на улице суетятся полицейские, а на тротуарах толпится народ, шепотом комментируя ночные события. Она присоединилась к одной из групп.

— Сумасшедшие.

— Кто, Бальбина?— спросил один из соседей.

— Эти ребятки, парень. Черт! Они начали поднимать шум.

## 12 мая Тыква нас предал

Во всем виноват сон. Тыква и до этого иногда проявлял признаки слабости, но все же оставался своим, по-братски деля с нами невзгоды, которые неизменно сопутствуют бедности.

Но в ночь на 12 мая приснившийся ему сон погубил его.

Проснувшись, он почувствовал, что его просто тошнит от царящей вокруг нищеты. Нищета — ночной зверь, как и голод, который будит чуть свет: ты открываешь глаза и чувствуешь, что у тебя сводит кишки.

Именно это случилось и с Тыквой.

Тыква открыл глаза. Огляделся вокруг: увидел нары, где спала его мать. Посмотрел вверх: увидел деревянный потолок и в одном его углу внимательно глядящую на него крысу, которую он прозвал «Чудотворная».

Он дал ей это имя, потому что никак не мог понять, чем она питается у них в доме и почему еще жива. Чудотворная глядела на Тыкву, и Тыква поспешно прикрыл ноги старым мешком из-под картофеля: как известно, крыса может незаметно отгрызть тебе палец. Она ведь анестезиолог. Жрет тебя, а ты ничего не чувствуешь, потому что в ее дыхании наркоз, а когда ты опомнишься и вскочишь на ноги, то окажется, что у тебя нет пальца на ноге, и тут, считай не считай, десятый палец не вырастет. Ты закричишь от ужаса, но криком тоже не поправишь дело.

Такое у нас случилось, и Тыква об этом знал.

Итак, досмотрев свой сон, он открыл глаза ровно в три часа двадцать пять минут и восемь секунд на заре 12 мая и почувст-

вовал, как тошнота поднимается к горлу и кислая, горячая слюна заполняет рот.

Тыква повернулся на бок и сплюнул на пол.

Потом он произвел расчет: «У меня осталось всего три песо». Потом припомнил свой сон:

«Я находился в большом доме и был хозяином всего, что в нем было. Мне прислуживал какой-то человек. Я отдавал ему приказания, и он их исполнял. Я требовал порхающих птиц, и в зале появлялись порхающие птицы. Но человек не разговаривал со мной, не улыбался и не смотрел на меня. Я спросил его, кто он и как его зовут. «Я ваш раб, господин»,— ответил он. «А чем я тебе заплачу? Откуда я возьму денег?»—«Вы мне заплатите своей жизнью, господин».—«Своей жизнью?» И Тыква содрогнулся, вспомнив ответ слуги: «Я умер, господин. Каждая моя услуга вам в конечном счете будет мне возмещена отрезком жизни. Вы будете жить хорошо, но та жизнь, которую мне подарят, будет частью вашей. Примите мою благодарность за то, что вы согласились на эту сделку». Тыкву охватил ужас.

Но постепенно мысли о том, как вырваться из цепких когтей нищеты, и заботы о хлебе насущном заставили его забыть о пережитом страхе. Остаток ночи Тыква не спал. Он лежал и думал, что у него осталось всего три песо и нужно дотянуть до конца недели, а тут еще в воскресенье будут праздновать День матери.

Своей старухе он сказал прямо: «Мать, может, когда-нибудь настанут лучшие времена, но в это воскресенье я ничего не смогу подарить тебе».

Мать улыбнулась и ответила, что это, мол, неважно. И он знал: она говорит правду, потому что гораздо важнее было достать еды.

Но этот сон расколол его жизнь надвое.

Тыква встал пораньше и пошел к лотерейному киоску. «Ставлю все, что есть, на 8»,— сказал он хозяину. «Тыква, ты часом с ума не сошел?»— удивился тот. «Ставлю все на 8»,— повторил Тыква. «Поставь на всякий случай хоть одно песо на какой-нибудь другой номер»,— посоветовали ему. Но он упрямо повторял: «Ставлю все на 8».

Оставшееся до объявления выигравшего номера время он провел в радостном ожидании, в надежде, сулившей ему близкое счастье и свободу, которые озарят его дальнейший жизненный путь, как только Кастильо во всеуслышанье объявит, что сон сбылся.

По улице прокатилась новость: Тыква рискнул целыми тремя песо, поставив их на «мертвеца»\*. Кое-кто заразился тем же азартом, побежал и тоже поставил монету на цифру 8. Стоя у дверей киоска, Тыква безмятежно улыбался. Ему казалось, что в груди у него зажегся маленький огонек, который, конечно же, разгорится в яркое пламя, когда хозяин возвестит о его выигрыше.

Этому огоньку он дал имя «счастливое наитие». Такое бывает раз в жизни.

В четыре пополудни пришел результат.

Тыква оцепенел, увидев, как хозяин вставляет в витрину картонку с цифрой 9. Народ сочувственно смотрел на Тыкву, кое-кто даже пытался утешить: «Не повезло тебе, кум. В следующий раз повезет». Другие разразились упреками: «Черт бы тебя подрал, Тыква, скольких ты втравил в это дело!»

Но Тыква молчал.

Потом пошел прочь от лавки, свернул на шоссе, вошел в здание полицейского участка и спросил капитана. Мулат, носивший три белые полоски на синих погонах, вышел к нему, похлопал его по плечу, увел к себе в кабинет и удовлетворенно улыбнулся, услышав:

— Я все обдумал, капи. Я буду сотрудничать.

## Мы устраиваем диверсию и проверяем Тыкву

Лицо Тыквы показалось Хулио необычным: у него был какой-то странный взгляд. Кроме того, Тыква стал интересоваться именами остальных участников группы. Хулио вдруг потерял к нему доверие.

\* Название лотерейной восьмерки.

Трудно объяснить почему, но потерял, и все тут.

«Знаю, парень он проверенный. Только это еще не все. Очень уж много он хочет знать, а в таких делах лучше знать поменьше», — твердил Хулио мне и Раулито.

Мы были с ним не согласны: «Тыква наш. У него, конечно, есть недостатки, например, он любит играть. Но это пройдет». В тот вечер мы с Китайцем даже поругались.

— С таким можно делать революцию? — прямо спросил он меня.

Я ответил:

— Да, можно. Мы ее уже делаем.

Китаец отрицательно качнул головой:

— Нам нужны люди другого типа.

Я разозлился:

— Какие же это люди? Так называемые «приличные»? Может, такие, у кого нет ни единого порока? Нет, Китаец, так не пойдет. Эти вряд ли станут рисковать шкурой.

— Надо искать таких, как мы. Ты ведь рискуешь? Я тоже рискую. А Раулито разве не рискует?

— Что значит «как мы»?

— То и значит, паренек. С Тыквой мы еще наплачемся.

— Когда мы посылали Тыкву за оружием в монастырь, мы его спрашивали, не пьет ли он, не играет ли, не нравится ли ему, боже сохрани, хорошая жизнь.

— Я послал его, чтобы проверить.

— Вот ты его и проверил. Он все выполнил! Принес револьверы!

— Все-таки я до конца не уверен.

— Что же еще, черт возьми, тебе от него нужно?

— Мне нужно, чтобы он смотрел на меня по-другому. А то он сверлит меня глазами, словно хочет вытянуть все секреты из моей башки.

— Просто ты затаил что-то против Тыквы, так и скажи.

— Ничего подобного. Я и сам толком не разберусь, в чем тут дело.

— Тогда проверь его еще раз. Дай ему дело потруднее и увидишь, что ты неправ.

Хулио эта мысль понравилась. Он разработал план диверсии в Компании и отобрал людей, которым предстояло его осуществить: Раулито, Тыква и я. Кроме того, мы договорились с одним шофером, служащим Компании. Наш проект был прост, ясен и, казалось, сулил верный успех.

«Ночью вы через склад проникнете на территорию и спрячетесь на стоянке грузовиков,— объяснил Хулио.— Шофер там наш человек. У него уже будет приготовлен песок, который вы насыплете в радиаторы машин. Только сначала надо слить бензин. Так что на следующий день им не на чем будет развозить продукцию. А когда закончите, повесьте на решетку забора со стороны улицы знамя нашего Движения»\*.

Мы разыскали Тыкву и рассказали ему о задании. Известие это он встретил без обычного энтузиазма. Только спросил: «Когда?»—«В ночь с воскресенья на понедельник».—«Ладно. Поглядим, что получится».

В четверг Раулито по поручению Хулио пошел к Тыкве и сказал: «Шофер, который откроет нам дверь,— наш человек. Его имя Хесус Мариа, но обычно его называют Пипо. Он уверяет, что все будет в порядке».

Тыква пожал плечами и ничего не сказал. Он отправился в бильярдную и целый вечер гонял там шары. Мы с Хулио издали наблюдали за ним. В одиннадцать он вышел и направился к шоссе. Мы на расстоянии последовали за ним. Тыква дошел до угла, где находился полицейский участок, остановился и огляделся по сторонам. «Ну вот, теперь сам увидишь, кто он такой»,— сказал Хулио. Я не верил своим глазам.

Только когда Тыква резко повернулся и пошел обратно, я вздохнул свободно.

Он медленно шагал вверх по улице и неожиданно остановился у дома Бальбины. Потом одним прыжком вскочил на крыльцо и постучал в дверь.

Мы остановились на углу. Через десять минут Тыква появился снова и быстро пошел вниз по улице. Тогда мы тоже постучали к Бальбине. Старуха открыла дверь.

\* «Движение 26 июля».

— Что он тебе сказал?— спросил Хулио, не называя Тыкву по имени. Бальбина догадалась, о ком идет речь.

— Он был какой-то чудной. Постучался и попросил карандаш и бумагу. Написал записку, поинтересовался, нет ли у меня конверта. Я дала, он его послюбил и заклеил, а потом сказал: «Бальбина, пожалуйста, отдай завтра это Китайцу Хулио, хозяину лавки». Грубиян, ушел, даже не поблагодарив.

— Где письмо?

— Вот оно.— Старуха взяла с буфета, стоявшего в зале, конверт и протянула его Хулио.

Китаец разорвал конверт, развернул записку и прочел: «Хулио! Вот уже несколько дней, как у меня нервы не в порядке. Я не сдрейфил, но в этом деле участвовать не стану. Что-то мне не по себе. Сегодня вечером я уеду к тетке в деревню. Вернусь — поговорим».

И он действительно уехал. Мы все же провели нашу операцию, потому что Хулио говорил, что таким образом можно окончательно проверить Тыкву: если бы сначала все обошлось благополучно, а потом с кем-нибудь из нас что-нибудь случилось, Тыква был бы раскрыт.

Ничего не случилось.

## Выступление народа

Это выступление мы не готовили, все получилось стихийно, словно вдруг развернулась туго скрученная пружина. Выплеснулся наружу гнев, скопившийся за долгие годы бесправного, нищенского существования обитателей улицы Магнолии. Даже Хулио не сразу разобрался что к чему. Сначала он пытался как-то остановить людей, но их решимость и справедливый гнев увлекли и Китайца.

Вот как это началось.

Старик Сантамариа переходил улицу, когда со стороны шоссе выскочил полицейский джип и чуть не сбил его с ног. Шофер высунулся в окошко и нецензурно обругал старика. Старик тоже не смолчал и обложил как следует его мать.

Полицейский выскочил из машины, подбежал к Сантамариа и грубо толкнул его. Тот ничком упал на мостовую, прямо в масляное пятно, растекшееся по асфальту. Старик снова неуважительно помянул мать шофера. Шофер кинулся на старика с кулаками. Люди, собравшиеся вокруг, стали громко возмущаться. Один мужчина оттолкнул полицейского, завязалась драка. Из джипа выскочили еще двое полицейских, схватили пистолеты. Люди, в основном старики, женщины, дети, окружили их плотным кольцом, отрезав от третьего. Тому пришлось одному отбиваться от разъяренной толпы, которая изорвала в клочья его синюю форму, сорвала фуражку и осыпала ругательствами. Один полицейский выстрелил в воздух, но народ не расступался. Напротив, круг сомкнулся еще теснее.

Услыхав выстрел, Хулио перескочил через прилавок и побежал к месту происшествия. Быстро сориентировавшись, он шепнул Сантамариа: «Старик, сгинь. Тут заварилось дело серьезное. Они начнут стрелять в людей». Старик Сантамариа скрылся, а Хулио бросился в самую гущу драки. Сильно струхнувший шофер громко звал на помощь. Полицейский, пытавшийся пробиться к своему товарищу, выстрелил еще раз и принялся раздавать удары направо и налево, расчищая себе дорогу среди стариков, женщин и детей.

Тут кто-то рассказал Хулио, с чего все началось, и Китаец, потеряв все свое благоразумие, кинулся на шофера и вlepил ему такую затрещину, что тот, не пикнув, растянулся на мостовой. Между тем Хулио, мгновенно оценив обстановку, приказал: «Расходитесь. Пора кончать заваруху».

Когда часть толпы рассеялась, Китаец повернулся к тем, кто окружал остальных двух полицейских. «Ладно, хватит, хватит!» — кричал он. Женщины, старики и дети расступились, и Хулио очутился прямо перед жандармом. «Там лежит ваш товарищ, все разбежались, я не знаю, кто его так двинул», — сокрушался Китаец.

Полицейские подбежали к валявшемуся без чувств шоферу, вместе с Хулио втоптали его в машину и, запустив во всю мощь сирену, умчались. Хулио вернулся в лавку.

Через десять минут приехал еще один джип с полицейскими.

Они стали разузнавать про старика Сантамариа. Правда, имя им было неизвестно и называли его просто «стариком».

Хулио заявил, что не знает такого. Целый час полицейские из конца в конец прочесывали улицу, но так и не нашли того, кого искали. Люди молчали, словно воды в рот набрали. Никто ничего не сказал. Поздно вечером Сантамариа тайно покинул свой дом и перебрался к пожилой родственнице, которая жила неподалеку от автобусного парка в квартале Вибора. Об этом тоже позаботился Хулио.

Старик Сантамариа был недоволен распоряжением Китайца, ворчал и сердился, но Вегита и Раулито его увезли, не смотря на протесты.

Этой же ночью, перед самым рассветом, дом старика обыскала полиция. Естественно, там ничего и никого не нашли, но Хулио обеспокоил этот обыск, он снова заподозрил Тыкву.

## Хулио бежит от полиции

Дочка Клаудии разбудила Бальбину:

— Хулио схватили. Сам капитан приезжал за ним.

У старухи упало сердце. Она вскочила с постели и набросила на себя что было под рукой.

— В чем его обвиняют?

— Не знаю,— ответила девочка.

Бальбина громко, на весь дом, чертыхнулась и в чем была выскочила на улицу. Не переводя духа, она промчалась по шоссе до полицейского участка и ворвалась в него.

Там она обратилась к дежурному сержанту и потребовала, чтобы ее провели к капитану. Минут через пятнадцать дверь кабинета отворилась, и она вошла.

Капитан с улыбкой учтиво поднялся ей навстречу.

— Говорят, вы взяли Китайца Хулио,— заявила старуха.—

Я пришла узнать о нем.

— Узнать?— Капитан не переставал улыбаться.

— Да, сеньор, нас связывает давняя дружба.

— Ах так, стало быть, вы друзья...— задумчиво промолвил

Муллат, продолжая скалить зубы в заученной фальшивой улыбке.

— Да, сеньор, мы друзья,— подтвердила старуха.

Капитан прошелся по плитам пола, повернулся к окну и, стоя спиной к Бальбине, спросил:

— А вы знали, чем он занимался?

— Нет, сеньор,— ответила старуха.— А в чем дело? Что натворил Китаец?

— Мы нашли у него револьвер и прокламации. Он был связан с группой мятежников, нарушавших общественный порядок. Руководили ими, разумеется, коммунисты.— Капитан немного помолчал, потом обратился к Бальбине с вопросом:— Кстати, кто из коммунистов улицы Магнолии вам знаком?

У Бальбины кровь застыла в жилах.

— Не может быть, просто не верится!— воскликнула она.— О коммунистах я знаю только понаслышке, и мне они не по нраву.

Капитан уселся перед Бальбиной и устремил на нее пристальный взгляд, словно пытался проникнуть в самые затаенные мысли.

— Старая, мы ведь с вами друзья.— У Бальбины даже язык зачесался, так хотелось отбрызнуть его как следует, но она проглотила свои слова.— Я всегда относился к вам с уважением и старался помочь. Помните, я помог вам, когда отпустил Хромого? А теперь мне нужна ваша помощь.

Бальбина выдержала взгляд капитана, но руки у нее дрожали.

— Мне нужно, чтобы вы мне кое-что сообщили,— продолжал Мулат.— Скажите, кто друзья Китайца, с кем он видится, к кому ходит?

Старуха поднялась со стула.

— Мне шестьдесят девять лет. Еще никогда в жизни меня так не оскорбляли. Вы предлагаете мне такое, на что я пойти не могу, и по нескольким причинам. Среди них одна, очень важная: я ничего не знаю о Китайце и его друзьях. А вторая тоже для меня важная: если бы я даже и знала, никогда не сказала бы. С чего вы, черт возьми, взяли, что я доносчица?

Муллат вскочил со стула.

— С капитаном полиции так не разговаривают, сеньора!— заорал он.— Я здесь представитель власти, и будьте добры держаться соответствующим образом.

— Если вы хотите что-то узнать, капитан,— возразила старуха,— то уж, во всяком случае, вы это узнаете не от меня.

— Я могу задержать вас,— пригрозил Мулат.— Вы интересуетесь человеком, которого обвиняют в тяжких преступлениях. Но ваши годы и уверенность, что вы в этом деле не замешаны, заставляют меня отпустить вас на свободу.

— Так вы не скажете, в чем обвиняют Хулио?

— Я вам абсолютно ничего не скажу. Можете идти, сеньора.

Бормоча проклятия, старуха вышла на улицу. Стояла полуденная жара, и ее прошиб пот, пока она добралась до дома. Войдя в залу, она нашла там плачущую дочку Клаудии в обществе двух соседей.

— Что случилось?— заволновалась Бальбина.

— Как только вы ушли,— объяснил сосед,— нагрянули полицейские и обыскали дом. Все здесь вверх тормашками перевернули. Девочка испугалась, закричала, и один полицейский пригрозил побить ее. Потом они ушли, а она, как видите, до сих пор в слезах.

Старуха осмотрелась и спросила:

— Нашли что-нибудь?

— Насколько нам известно, нет,— ответил сосед.— Ушли с пустыми руками.

Бальбина с глубоким облегчением вздохнула и принялась утешать дочку Клаудии: «Все уже кончилось, детка». Потом она поблагодарила соседей, проводила их до двери и заперла ее.

Девочка немного успокоилась, а Бальбина отправилась в монастырь. Там между грядок, засаженных цветами, бормоча себе что-то под нос, бродил Фермин. Она приблизилась к нему: «Хулио взяли, а у меня устроили в доме обыск. Нужно что-то делать». В ответ Фермин разразился хохотом, и старуха рассердилась. Она повернулась к нему спиной и пошла прочь, но до самой загородки ее преследовал смех Фермина: раньше он никогда так не смеялся, тут было что-то не так.

Она решила было вернуться — ей вдруг пришло на ум, что

Фермин заболел, но потом передумала и отправилась к старику Сантамариа.

Вечером, посадив Хулио в полицейский джип, его «прогуляли» по улице. Впереди сидел Мулат, Хулио между двумя полицейскими поместили сзади около маленького окошка. Это был грубый прием, казавшийся, однако, Мулату на редкость удачным. «Я арестую каждого, кто с ним поздоровается, и так распознаю его друзей», — сказал он своим помощникам.

Они провезли его два-три раза вверх и вниз по улице. Мы стояли на углу, но Хулио взглядом приказал нам сделать вид, что мы его не знаем. И мы его поняли.

После нескольких «прогулок» джип свернул на шоссе и направился к полицейскому участку. И вот тут-то произошло то, чего Мулат никак не мог предвидеть: какой-то грузовик развернулся поперек проезжей части, и полицейская машина налетела на него. От удара распахнулась дверца кузова, где сидел Хулио. Китаец выпрыгнул и бросился бежать.

Охранявшие его полицейские принялись стрелять, но Хулио, петляя по улице, смешался с толпой на тротуарах. Когда он уже был у ворот клиники «Ковадонга», пуля навывлет ранила его в левую руку. Китаец, задержавшись на мгновение, все же успел вбежать в больничный сад, где вертящаяся установка орошала зеленый газон. Полицейская машина следовала за ним, но он мгновенно исчез среди больничных корпусов, словно его земля поглотила. Мулат приехал с подкреплением, обшарил всю больницу, сыпал проклятьями, причем досталось и медицинскому персоналу, но Хулио так и не нашел.

Вечером Мулат снова появился в доме Бальбины. Старуха открыла ему дверь и остановилась посреди освещенной залы.

— Я пришел обыскать ваш дом, сеньора.

Бальбина взглянула ему прямо в глаза:

— Вам что, утреннего обыска мало?

— Да, сеньора, мало. И дай бог, чтобы я не нашел того, что ищу.

— Что же вы сейчас потеряли, капитан?

Мулат закусил губу и зло проронил:

— Вы это знаете лучше меня: Китаец сегодня сбежал.

Старуха с облегчением перевела дух и чуть не засмеялась от радости. Но вовремя сдержалась. Она показала Мулату и сопровождавшим его полицейским весь дом, открыла ванную и уборную, провела на задворки и вообще была внимательна и услужлива. Разумеется, в доме не было того, кого Мулат искал.

Спрятанный в корпусе для инфекционных больных, Хулио несколько дней был надежно укрыт от глаз преследователей. Но и Мулат так легко не сдался, он сделал обыск еще в нескольких домах на улице и расставил своих людей в каждом отделении больницы. Впрочем, те, кто спрятал Хулио, это предусмотрели. Днем Китаец скрывался в маленьком, похожем на пагоду, крематории, стоявшем по другую сторону забора, а по ночам кто-нибудь приходил за ним и они оба в форме братьев милосердия выходили во двор. Китаец отдыхал, спал, ему делали перевязки и до рассвета он успевал вернуться в «убежище».

Мы приходили туда два раза. Один раз — навестить его и второй — проститься.

Отправляясь в Сьерра-Маэстра, Хулио не стал говорить нам ни о том, что было, ни о том, что будет. Он говорил о сегодняшнем дне и о нашей борьбе. В его голосе звучала усталость человека, которому тяжело выступать в роли дичи, преследуемой по пятам собаками. Но в глазах у него не угасал свет веры и надежды.

## «Перевод» 501-го

Уход Хулио в Сьерру вызвал много толков. Но он послужил как бы подтверждением того, что революционная борьба не миф, а конкретная действительность. Люди сначала изумились, а потом преисполнились восхищения тем, что наш Китаец связан с Движением.

Упоминались и еще кое-какие имена возможных «участников». Родители не спрашивали своих детей, состоят ли они в

организации, но, опасаясь за них и в то же время гордясь их участием в нарастающих событиях, тщательно следили за тем, когда они уходят из дома, возвращаются, с кем водят дружбу, что читают.

В последние годы диктатуры увеличились репрессии. Полиция заполонила нашу улицу. Она подавляла любой протест, унижала, избивала, терроризировала людей. И убивала. Да, убивала! Старики, вспоминая мрачные годы правления Мачадо\*, говорили: «То же самое, что и тогда. То же самое». Они все никак не могли избавиться от разочарования, вызванного поражением революции 1933 года, некоторые из них, памятуя свой горький опыт, старались удержать сыновей в стороне от событий. «Мертвому могилку, живому — цыпленка на вилку. Тебя просто убьют, а когда падет Батиста, пирог поделают другие. Лучше уж переждать бурю, не суясь в политику».

Так говорили многие, полагая в простоте душевной, что опыт прошлого и прожитые годы позволяют им предвидеть ход событий. Но на самом деле они просто потеряли веру в наступление лучших времен, а мы, молодые, верили.

«Фидель — это совсем другое», — говорили мы. Но старики стояли на своем: «Может быть. Только, когда они придут к власти, власть и их развратит».

— Разве не может быть по-другому? — удивлялся Раулито.  
— Надо же верить кому-то.

Но старики в ответ посмеивались, будто доверие к человеку — самая бессмысленная вещь на свете.

Спасение Хулио из лап полиции и его уход в Повстанческую армию стали для нас новым стимулом к борьбе (мы поняли, как мы сильны, когда действуем заодно), но и полицейским это развязало руки.

Окончательно убедившись, что Китаец от них ускользнул, они принялись за обитателей нашей улицы. Начались допросы, расследования, избиения и угрозы. Тогда кое-кто из стариков

\* Херардо Мачадо (1871—1939) — государственный деятель. Будучи президентом республики (1925—1932), установил на Кубе жестокую диктатуру.

заговорил по-другому. «Око за око. Только так. Прежде чем они прикончат вас, вы сами должны их прикончить!»

Но матери думали иначе. Ночи напролет проводили они у калиток задних двориков, поджидая возвращения сыновей, с тоской переводя взгляд с часовых стрелок на скользящие по улице тени.

Если где-то, пусть даже очень далеко, звучал взрыв бомбы, они осеняли себя крестным знамением и бормотали: «Господи боже мой, только бы он вернулся пораньше». Матери знали, что на улице воцарился жестокий закон, гласивший: «Быть молодым — уже преступление».

Сегодня дети их детей могут ходить и возвращаться, когда им вздумается, бабушки знают, что эти юноши и девушки никогда уже больше не встретят утреннюю зарю, уставив в небо взгляд остекленелых глаз, с пулей во лбу, выкрученными суставами, простреленной грудью и содранными ногтями.

Да, они знают, что такое не повторится. Но многие из них так и не дождались своих сыновей в одну из тех страшных ночей пятьдесят восьмого года.

Спасение Хулио придало людям решимости. Улица как бы сказала полицейским: «Мы вас больше не боимся. Рискует один — значит, рискуют все. У нас нет теперь страха перед вами, нет к вам уважения».

Эти самые слова сказала Бальбина 501-му, который ответил ей испуганным взглядом и при этом повел себя очень странно: поспешно, озираясь по сторонам, будто боясь внезапного нападения, он удалился и тем же вечером попросил Мулата перевести его на другой участок. Мулат ему отказал.

## Каталина

*Однажды вечером 501-й пришел ко мне, трясаясь от страха. У него даже пот на лице выступил. Он повторил мне то, что сказала ему Бальбина: «Мы вас больше не боимся. Рискует один — значит, рискуют все. У нас нет теперь страха перед вами, нет к вам и уважения».*

Потом он сообщил, что ему ответил Мулат на просьбу о переводе: «Если дрейфишь, заведи собаку. Никого и никуда отсюда не переведу. А в случае чего все вместе со мной полети-те в тартарары».

Да, вот что рассказал мне 501-й.

Конечно, я держала его на расстоянии: все знают, что этот солдафон не церемонился с женщинами. Он очень наглый был, думал, все мы одним миром мазаны, а коли на нем форма, то, значит, ему все и дозволено.

Я не стала просить за него моих святых, он ведь не в игрушки играл, у него много чего на совести! Кое-какие из его подвигов мне были хорошо известны: это на нем лежит вина за смерть Хромого — он его схватил в тот вечер, когда загорелся цирк, и избил в полиции; несколько лет тому назад он застрелил негра, просто так взял и застрелил, потому что ему, видите ли, не нравятся негры, и он же стрелял в сына Привиденьца и если не убил его, то только потому, что мальчик находится под покровительством святой Варвары, которая и отвела пулю. Я ему прямо сказала: «Поищи кого-нибудь другого себе в помощь. Я уже давно этими делами не занимаюсь». Он было стал грозиться: «Если со мной что случится, я не отвечаю за твою жизнь. Ты должна мне помочь, Каталина». Я только рассмеялась ему в лицо:

«Я, братец, давно уже излечилась от страха. Если с тобой что случится — дело твое. Ты много зла натворил, и пришел час расплаты. Берегись — вот мой единственный совет тебе».

Он разозлился на меня, но так перетрусил, что пулей вылетел из дома и скрылся за углом, точно его дьявол уволок. На следующий день он снова пришел, мы совсем разругались: он наговорил мне грубостей, а я сказала, чтобы ноги его больше не было в моем доме. Ну а потом случилось то, что случилось, — Революция; его взяли, как вы знаете, в доме любовницы, он там спрятался в клозете. Полные штаны наложил. Стал просить прощения у наших парней.

Старик Сантамариа мне потом рассказал про суд. Когда судья провозгласил: «Двенадцать лет тюрьмы», 501-й прямо со скамьи свалился.

*«Это был совсем другой человек, Каталина,— говорил мне старик,— вся его наглость с него слетела; глаза потухли, плечи опустились, будто на него обрушились прожитые годы».*

*Мне, по правде говоря, его не жалко. Я всегда ненавидела злоупотребления, а 501-й только и знал, что злоупотреблял.*

*На мне тоже есть грех, прошло столько лет, а я все не забываю то зло, которое причинила Фермину. Гильот Хануга впутал меня в это дело, соблазнил деньгами. Я это знаю, но и свою вину держу в памяти.*

*И когда-нибудь мне еще придется расплатиться за это.*

## Тайна исповеди и страшный суд, свершенный Тыквой

Только один раз, как-то вечером, Фермин принял нас у себя в своем бою в монастырском саду. Ни до этого, ни потом мы у него не были. Но на этот раз обстоятельства сложились так, что ему пришлось срочно послать нам записку. На измятом клочке оберточной бумаги было написано: «Жду вас сегодня в девять. Обязательно приходите. Фермин».

Ровно в восемь часов и сорок семь минут вечера мы перелезли через колючую проволоку и между цветочных грядок стали пробираться к хижине Фермина. «А собак он привязал?»— спросил Раулито. Я вспомнил, что нам сказал Хулио, когда мы ходили за оружием: «Берегитесь его зверей. Фермин говорит, что он ни за что на свете не будет держать овчарку на привязи». Вдали, словно напоминая о себе, залаяли собаки.

Пригнувшись, мы шли по узкой меже среди поля цветов, шипы впивались нам в руки, башмаки промокли от росы, мы молча продвигались вперед, прислушивались к лягушинуму концерту, доносящемуся из пруда, брели наугад, помня лишь, что нужно держать к востоку.

В восемь пятьдесят шесть впереди мелькнул свет. «Это его дом»,— догадался Раулито. Мы присели на корточки, и тут из темноты появился Фермин. «Молодцы, ребята,— сказал старик,— пришли вовремя»,— и повел нас к бою.

В девять часов две минуты Фермин открыл дверь, и мы вошли в домик, стараясь держаться подальше от собак. В доме стоял резкий запах псины. Фермин заметил, что нам не по себе, и улыбнулся: «Я привык к этому. Это ничего. Зажмите носы». Мы с Рауито тут же последовали его совету.

Жилье Фермина состояло из одной маленькой квадратной комнаты, заставленной грубо сколоченными сундучками. Пол покрывали страницы старых и свежих газет. От одной стены к другой протянулась проволока, на которой сушилась рабочая одежда. С внутренней стороны двери на маленьком гвоздике висел листок с молитвой святой деве лоретской.

Фермин пододвинул нам табурет: «Садитесь. Это мой единственный стул. Я не привык принимать гостей». Мы с Рауито кое-как уместились на сиденье, а Фермин остался стоять. За его спиной четырьмя булавками была приколота к стене фотография, на которой Мистингетт демонстрировала ноги.

Не торопясь и без обиняков старик рассказал нам, что в полдень в саду, где он срезал цветы на алтарь церкви для бедных, его разыскал отец Тальо. Увидев священника, Фермин очень удивился: «Отец Тальо страдает расширением вен, за плечами у него немало лет, и он почти никогда не покидал монастырских покоев».

Еще Фермин обратил внимание на то, что у святого отца дрожат розовые пухлые руки. Он хорошо знал священника и сразу понял: случилось что-то из ряда вон выходящее. Стараясь унять дрожь, падре скрестил пальцы.

— Дон Фермин, мы можем минутку поговорить?

Фермин ничего не ответил, но оставил работу и подошел к нему.

— Мы можем поговорить?— повторил свой вопрос отец Тальо.

— Разумеется,— ответил Фермин, ум которого в тот день был как никогда ясен.

Священник подошел к большому камню и, приподняв сутану, сел на него. Фермин ждал. Отец Тальо осмотрелся вокруг и жестом пригласил Фермина приблизиться. Фермин остановился перед ним.

— Мне можно сесть?

— Садитесь, если хотите,— разрешил отец Тальо.

Фермин сел прямо на землю.

— Вот уже тридцать лет я ношу сан священника,— начал падре,— и то, что я сейчас собираюсь сделать, перечеркнет всю мою честную и в известной степени, смею надеяться, примерную жизнь. Но я должен это сделать, дон Фермин.

Старик продолжал невозмутимо смотреть на него. Отец Тальо наклонился к нему:

— Вам известно, что такое тайна исповеди?

Фермин ответил, что да.

— Священнослужитель не имеет права нарушать ее,— продолжал падре.— То, что доверено человеческими душами нашему слуху, должно умереть в нас. Исповедь принадлежит нам лишь в той степени, в какой мы можем облегчить скорбь грешника. Исповедуются не нам, но через нас господу.

Отец Тальо сделал паузу, показавшуюся Фермину целой вечностью, потом взял прутик и принялся чертить на земле маленькие кружочки.

— Сегодня утром пришел ко мне на исповедь один юноша с улицы Магнолии.— Фермин насторожился.— Да, он пришел и поведал о своих дурных поступках. Это слабая, заблудшая душа. Он сотворил много зла, и теперь его охватило раскаяние.

— Что он сделал?— резко перебил Фермин священника, но по взгляду отца Тальо тотчас понял, что этого делать не следовало.— Я не то хотел сказать,— поправился старик,— не обращайтесь на мои слова внимания, падре, сообщите, что считаете возможным.

Священник покусал нижнюю губу и продолжал:

— Я не имел права так поступать, но когда он рассказал мне, что он сделал, я через решетку исповедальни посмотрел на него и узнал. Вы его тоже знаете. Этого юношу называют Тыквой.

Фермин чуть было не вскочил на ноги, словно внутри у него вдруг распрямилась пружина, но священник удержал его.

— В руках этого юноши жизнь многих людей,— отец Тальо минуту помолчал и добавил:— В том числе и ваша.

— Он донес?— возмутился Фермин.

— Пока юноша еще не пал так низко. Я бы скорее сказал, что он просто сотрудничает с полицией. Он информировал ее в общих чертах, но обошел молчанием имена участников.

— Участников чего?— спросил Фермин, стараясь выиграть время.

— Вам это известно лучше меня. Он назвал мне пять имен и среди них ваше.

Фермин опустил голову и провел рукой по вспотевшему лбу.

— Разве не правда, что вы один из тех, кто принимал участие в том деле?

Старик медленно кивнул головой.

— Полиция потребовала, чтобы юноша назвал людей. Ваш товарищ совсем запутался. Донести на вас у него не хватает духу, а тянуть дальше он тоже не может. От полиции он получил много денег и знает, что час расплаты недалек.

— Моя жизнь значит немного,— ответил Фермин.— Я уже стар, и мир мало потеряет, даже если меня убьют, но в этом деле замешаны совсем мальчишки, среди них один, которому едва исполнилось четырнадцать лет. Любой из них стоит в тысячу раз больше, чем этот сук... простите, святой отец, Тыква.

Священник кротко взглянул на него и произнес только три слова:

— Я это знаю.

— Благодарю вас, но я не могу сидеть сложа руки. Не верю я ни в его раскаяние, ни в его исповедь. Мне нужно действовать, чтобы спасти жизнь этих ребят. Когда он вам все рассказал, в котором часу?

— Сегодня в семь утра,— тихо ответил отец Тальо.— Я долго говорил с ним, давал советы, убеждал молчать. Я не думаю, что он пал настолько, чтобы...

— Доносчик!— прервал его Фермин.

— ...предать свою душу в руки дьявола,— прошептал священник.

Они решили, что так или иначе, но Фермин известит остальных. Этим и закончилась их встреча. С грустной, спокойной улыбкой, всей душою веря в раскаяние Тыквы, отец Тальо

простился с Фермином. Но наш старик не был столь доверчив.

— Вам надо исчезнуть. Обоим придется скрыться отсюда,— распорядился он.

— А вы, Фермин?— спросил Раулито.

— Я останусь, сынок. Куда мне идти с моими собаками? Я с ними не расстанусь.

— А если Тыква донесет?

— Что ж, придется рискнуть.

Мы долго спорили с ним, но так и не смогли его переубедить. Потом он проводил нас до изгороди и на прощанье попросил: «Где бы вы ни оказались, пришлите кого-нибудь для связи, а я через него извещу, как тут идут дела».

Мы долго смотрели ему вслед, пока он не затерялся среди цветов и ночных теней.

Этой же ночью мы скрылись. Раулито придумал, куда нам лучше всего уйти: «К сестре старика Сантамариа, той, что живет рядом с автобусным парком в квартале Вибора».

Мы пришли туда поздно ночью и три раза постучали. Голос старика откликнулся из-за двери: «Кто там?» Раулито ответил, раздался лязг отодвигаемой задвижки, дверь отворилась, и Сантамариа из темноты сеней пригласил нас: «Входите, ребята».

Мы вошли и проговорили с ним до самого рассвета.

В десять утра старик разбудил нас. Он был явно чем-то взволнован, в руках у него была газета.

— Наверняка это он,— сказал Сантамариа.

— Кто?

— Тыква. Наверняка это Тыква.

Мы вскочили с постели, схватили газету и сразу же увидели снимок скорчившегося на асфальте человека, на лице которого застыла гримаса боли. Заголовок гласил: «Неизвестный кончает с собой, выбросившись из окна пятого этажа здания «Гомес».

Под фотографией стояла подпись:

«Вчера вечером в десять сорок пять какой-то неизвестный лишил себя жизни, выбросившись с пятого этажа здания «Гомес». Он был одет в белую рубашку, коричневые брюки и двухцветные, коричневые с белым, баш-

маки. Власти ведут тщательное расследование, чтобы установить личность молодого самоубийцы, возраст которого приблизительно девятнадцать лет».

Внимательно рассмотрев фотографию под разными углами, мы пришли к единодушному заключению, что это Тыква. В тот же вечер сестра Сантамариа навестила Бальбину и по возвращении подтвердила: Тыква покончил с собой.

Всего одну ночь мы провели не на своей улице и на следующий день вернулись домой. Один из наших известил Фермина, и старик сразу же пришел повидаться с нами. Он вошел в дом с черного хода, выходящего в сад, крепко обнял нас, и мы долго разговаривали. Фермин рассказал, что, прежде чем пойти к нам, он беседовал с отцом Тальо. Тот был печален, но спокоен, узнав новость, он перекрестился и промолвил:

— Да примет его господь в свое святое царствие и да простит ему, что он не дождался божьего суда. Видите, дон Фермин, к чему приводит предательство.

## Мы все еще в долгу у Фермина

Фермин умер декабрьским утром, когда начали дуть первые зимние ветры. Он скончался в отделении для престарелых клиники «Ковадонга».

Его привезли туда за сорок пять дней до смерти. Бальбина утверждала, что его убила «страстность души», но врачи поставили свой диагноз: инфаркт, отягощенный возрастными изменениями в организме. И правда, за этот год Фермин сильно сдал: в последние месяцы он все чаще и чаще терял память, заговаривался, участились перебои в сердце.

Фермин порой утрачивал связь с действительностью. Он как бы жил в ином измерении, а когда возвращался, ничего не помнил. Дело дошло до того, что старик начал вступать в долгие беседы со своими сторожевыми псами.

У него изменился характер, он стал болтлив и часто смеялся без видимой причины. На лице, раньше хранившем суровое, настороженное выражение, заиграла постоянная насмешливая

улыбка, переходящая в громкий хохот, когда старик бросал какое-нибудь едкое замечание. Он превратился в доморощенного философа, преисполненного желчи и сарказма.

Вначале мы не хотели верить в его болезнь и приписывали веселое оживление (часто неуместное), не покидавшее старика до самой смерти, его все более деятельному участию в нашем Движении. Но вскоре мы поняли, что дело не в этом.

Он захохотал, узнав о бегстве Хулио; самоубийство Тыквы вызвало у него отнюдь не сочувственную улыбку, а обыск в доме Бальбины — взрыв громкого смеха, который заставил старуху сердито чертыхнуться. В конце концов нам пришлось смириться с потерей одного из самых опытных, самых решительных наших борцов. Да, судьба сыграла с нами злую шутку. Помочь тут ничем было нельзя, и скрепя сердце мы отвезли его в отделение для престарелых клиники «Ковадонга».

В тот вечер на мгновение к нему вернулась былая ясность сознания: «А мои собаки? Что будет с ними?» Бальбина пообещала ему носить животным еду. Старик поблагодарил ее взглядом и попросил: «Только никогда не привязывай их. Овчарку ни за что на свете нельзя держать на привязи». Фермин заставил старуху поклясться именем дочери Клаудии, что она исполнит его просьбу.

Мы оставили Фермина в клинике, а сами вернулись в его хижину и сожгли все компрометирующие старика бумаги, которые он так тщательно хранил. Маленькая деревянная лачуга показалась нам еще беднее, печальнее и бесприютнее, чем раньше, а Ферминовы собаки смотрели на нас полными глубокой грусти глазами. Каждый день Бальбина навещала Фермина.

По возвращении она рассказывала нам о нем, об улыбке, постоянно игравшей у него на губах, и о странных видениях, посещавших его помутившееся сознание. Фермин стал часто вспоминать прошлое, говорить об умерших так, будто они еще живы, и путать события.

Он рассказывал о женщине, чье имя ни разу не произнес, которую любил еще в ранней юности: «Она ушла на небо, Бальбина, до того ей опротивела эта клоака. Она ушла на небо

и оттуда все эти годы охраняла меня, безмолвно смотрела на меня, ожидая, пока я покончу с земными счетами, чтобы навеки соединиться с нею».

Старуха терпеливо слушала его.

«Да, она ушла на небо,— повторял Фермин,— и теперь я знаю, что мы скоро встретимся там, наверху».

Так, в разговорах об этой женщине и о многом другом, например о «звезде и цветке, которые есть у каждого человека, которыми он владеет, сам того не ведая, в течение всей своей жизни, ибо они даны ему в момент его появления в этом мире», провел Фермин сорок дней.

На сорок первый день, проснувшись, он почувствовал страшную слабость и не смог встать с постели. Когда, как обычно, пришла Бальбина, около него толпились врачи.

«Ничего нельзя сделать. Организм очень изношен»,— сказали они старухе. Ему назначили питательные растворы, и Бальбина оставалась у его ложа вплоть до двух часов двадцати пяти минут первого декабря, когда Фермин сказал ей: «Она забирает меня. Она уже пришла за мной». Слабое подобие улыбки мелькнуло у него на губах, и он умер.

Старуха сама закрыла ему глаза.

Всю ночь, пока Бальбина и немногие друзья сидели у гроба с телом Фермина, установленного в маленькой часовне клиники, глухо выли его овчарки в монастырском саду.

Стояла глубокая ночь, когда лучи полной луны, похожей на блестящую круглую монету, осветили фигуру капитана полиции на пороге часовни.

Муллат вошел вовнутрь и подозвал к себе Бальбину и всех, кто находился с нею.

«Чтоб завтра его зарыли без всяких прощальных слов,— приказал он.— А то завели привычку говорить на похоронах длинные антиправительственные речи. Старик всегда шел против властей, и я не желаю, чтобы его смерть превратилась в еще один предлог для болтовни, носящей существующий режим. Ясно?»

Бальбина повернулась к нему спиной и снова села у гроба. Кто-то нехотя процедил сквозь зубы: «Ладно, капитан». И Фер-

мин сошел в могилу без прощального слова, которого он был достоин как никто другой.

За это мы все еще в долгу у Фермина.

## Намеки и вера в победу

Внезапно все вокруг, сам воздух, словно наполнилось намеками. Люди с нетерпением ожидали выхода очередного номера «Бозмии» и тотчас же принимались разглядывать обложки и фотографии. Их рассматривали под разными углами, поворачивая туда и сюда в надежде отыскать среди мирных пейзажей лицо Фиделя, Камило Сьенфуэгоса или Че. Если не лицо, то какой-либо признак, намекающий на их присутствие: широкополоую шляпу Камило, бороду Фиделя, берет Че Гевары.

Скрытый намек искали даже в торговой рекламе.

Бальбина — в лавке, на улице, на шоссе — всюду повторяла эти слова: «Надо верить... что все придет!»

Вечерами люди гасили лампочки в парадных и спешили укрыться в задних комнатах, чтобы слушать передачи радиостанции Повстанческой армии. Детям давались четкие указания: «Если появится 501-й, ты крикнешь или засвистишь».

Для ребятишек эти поздние дозоры становились настоящим приключением.

Да и не только для детей, для взрослых тоже. Каталина с возгласом: «Ах, как я волнуюсь!» — стучала в дверь Бальбины, старуха открывала ей, и они обе пробирались в самую последнюю комнату, где мы сидели с наушниками.

Однажды поздно вечером, когда как раз шла передача, в дверь постучал 501-й. Бальбина открыла, и он сказал, что плохо себя чувствует: обходил-де улицу и у него ужасно разболелась голова. Старуха проводила его в залу и предложила: «Подождите минуточку, я принесу вам аспирин и воды».

Она быстро прошла в заднюю комнату, шепнула нам: «501-й» — и кивнула на залу.

Мы тут же выключили радио, а она направилась в кухню, откуда вернулась в залу, неся стакан воды и таблетки аспирина.

Полицейский принял лекарство, запил его водой, поднялся и сделал попытку заглянуть во внутренние комнаты.

Старуха преградила ему путь:

— Ну что? Вам полегчало?

501-й, не отрывая взгляда от двери, ведущей в глубь дома, спросил в свою очередь:

— Вы одна, Бальбина?

— Да, сеньор!— не задумываясь ответила она.

501-й недоверчиво улыбнулся:

— Это сейчас самое лучшее. А то есть неподходящие компании.

Он ушел, остановился на углу и долго торчал там. В полночь Каталина вышла посмотреть, где он, и убедилась, что его нет. Только тогда мы один за другим вышли из дома Бальбины.

В тот вечер, когда Повстанческое радио сообщило, что войска Че подорвали в Санта-Кларе бронепоезд, задняя комната Бальбины переполнилась ликованием.

Ликование расплескалось по стенам, окрашивая их в розовые тона, разлилось по коридору, ворвалось в залу и распустилось там пышным цветом.

Старуха в танце прошлась от задней комнаты до стола посреди залы, обогнула его и, подняв над головой руки и изящно покачивая бедрами, вернулась назад. Раулито обнял ее и поцеловал. Каталина опустилась на колени и осенила себя крестным знаменем, а поднявшись, расхохоталась так громко, что Бальбине пришлось осадить ее: «Черт подери, мулатка, ведь тебя же могут слышать».

Этой же ночью мы с Раулито вышли из дома, тенью скользнули по Магнолии, добрались до квартала Вибора, постучались в дом близ автобусного парка и разбудили Сантамариа.

Он очень обрадовался. Потом нахмурил брови.

— Кажется, дело дошло до точки,— сказал старик. Мы не поняли, что он имеет в виду, и вопросительно посмотрели на него.

Сантамариа сел в кресло.

— Если Индеец заартачится, а не удерет в Майами, как в

свое время Прио\*, победа нам будет стоить много крови. Придется схватиться с ними здесь, на улицах Гаваны.

Раулито дотронулся до ремня, на котором он носил свой «люггер», и ответил: «Ну что ж, старик, будем драться здесь, в Гаване». Сантамариа, утвердительно кивнув, медленно поднялся с кресла.

— Разумеется, Раулито, будем.

Он проводил нас до угла и там распрощался с нами. Когда мы возвратились, Бальбина еще не спала, она расшивала нарукавную повязку цветами Движения. Мы предупредили ее:

— Бальбина, спрячьте-ка это в надежное место. Такие вещи опасно держать дома.

Старуха завернула повязку в кусочек полиэтилена и сказала, понизив голос:

— Черт возьми, чует мое сердце — скоро я надену ее. Надену и пройду с нею по всей улице.

## Тост за революцию

Еще не рассвело, когда три дня спустя у парадного Бальбины вспыхнул яркий свет и залил улицу.

— Он смылся! — крикнула старуха, рывком распахивая дверь.

Подождав немного, она снова закричала:

— Он убрался к чертям собачьим! Конец Батисте!

Одна из соседок притворила окно и, обернувшись к мужу, который еще не совсем проснулся, сказала: «Старуха спятила». Но ее муж оделся, пересек улицу и подошел к двери Бальбины. Та обняла его со словами:

— «Правитель» удрал. Теперь мы свободны.

Сосед возразил:

— Не очень-то ободряйтесь, бабушка. Идите лучше домой. Мачадо в свое время тоже распустил слух, что уехал,

\* Карлос Прио — политический деятель Кубы, с 1948 по 1952 г. президент республики. После прихода к власти Батисты уехал в США.

а когда люди выбежали на улицы, их перебила полиция. Так погиб мой отец.

Лицо Бальбины омрачилось, но в эту минуту подошел Раули-то. «Убежал»,— подтвердил он со слезами на глазах и спрятал голову на груди Бальбины. Старуха ласково взъерошила ему волосы и шепнула на ухо:

— Ты же всегда был мужчиной, будь им и сейчас, черт возьми! Не думай, что все кончилось: все только начинается.

Мало-помалу собрался народ: женщины в халатах, мужчины в пижамах, дети в майках и трусиках. Старуха сварила кофе, щедро разлила его по старым банкам из-под сгущенного молока и поднесла присутствующим.

Потом она на минуту скрылась в спальне и вышла оттуда с красно-черной нарукавной повязкой, на которой белыми нитками была вышита цифра «26». Дом ее стал похож на муравейник, люди кричали: «Вива!»— и били в ладоши.

Рассвет мы встретили пением национального гимна.

Разбуженные соседи растерянно и с опаской выглядывали из своих домов. Раули-то влез на столб и прикрепил к нему знамя Движения, так и заструившееся, запыхавшее в порывах утреннего бриза. Когда солнце поднялось над горизонтом, на улице собралась большая, ликующая толпа; взволнованные, потные люди кричали и размахивали красно-черными флажками и флажками цвета национального знамени, как по волшебству появившимися у всех в руках.

Громко звучали имена, которые до этого произносились только шепотом, да и то лишь в узком кругу друзей: Фидель, Камило Сьенфуэгос, Че Гевара, Альмейда. Люди выкрикивали их в полный голос, и снова отовсюду несло: «Вива!»

Казалось, что солнце никогда еще не пылало так ярко.

Группа парней отправилась в центр города и к вечеру вернулась с трофеями: обломками счетчиков с платных стоянок автомашин, полицейскими фуражками и последними новостями. Лица у них были возбужденные и веселые.

В шесть вечера по улице пронесся слух, который заставил забиться наши сердца: «Хулио в Гаване. Он жив. Он пришел вместе с отрядом Камило и сейчас находится в казармах

«Колумбия». Бальбина упала в кресло и заплакала. Сантамариа положил ей руку на плечо, но не мог произнести ни слова.

Услышав это известие, Раулито выбежал за дверь и исчез. Через два-три часа он вернулся — и не один! С ним вместе пришел Хулио. Он очень загорел, на нем была оливково-зеленая форма, на плече висела винтовка, из-под солдатской фуражки выбивались длинные волосы.

Едва он показался на нашей улице, как к нему со всех сторон устремился народ и окружил его: люди приветствовали Хулио, улыбались ему и присоединялись к тем, кто сопровождал Китайца в его шествии по улице Магнолии. Так все дошли до дома Бальбины. Старуха выбежала ему навстречу и с плачем обняла. Он погладил ее по белым волосам.

— Кончилась война, Бальбина, — сказал он ей.

Люди в молчании смотрели на них.

— Кончилась, Китаец, кончилась, — всхлипывая, повторяла она.

Тогда Хулио спросил про Фермина, и Бальбина, глядя ему прямо в глаза, ответила:

— Фермин умер в прошлом месяце.

Хулио проглотил комок в горле и поинтересовался, где старик Сантамариа, но тут он сам увидел его, и они обнялись. Объятие длилось по меньшей мере двадцать пять секунд. Меня он тоже обнял. Потом мы все поднялись на крыльцо и вошли в дом. Впереди Китаец с Бальбиной, за ними Раулито, старик Сантамариа и я. А потом вошли и все остальные и уселись на стульях, креслах и прямо на полу. И все с любопытством и восхищением смотрели на Китайца Хулио.

Бальбина вынесла бутылку рома.

Она разлила его всем до последней капли. Тогда старуха подняла свою кружку и громко сказала:

— Давайте выпьем за Революцию, за светлую память тех, кто погиб, и за тех, кто остался жив. Я пью за Хромого и за Фермина! И за Китайца!

Народ разразился рукоплесканиями и криками, и каждый выпил свой ром. Раулито, выпив, закашлялся, и мы все рассмеялись. На улицу Магнолии медленно и тихо опускался вечер.

ХОАКИН САНТАНА

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЛИЦЕ МАГНОЛИИ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Канторович*

Художественный редактор

*Л. Филиппова*

Технические редакторы *Н. Толстякова,*

*Е. Медведева*

Корректор *Л. Шмелева*

---

ИБ № 715

Сдано в набор 2.03.82. Подписано в печать 16.07.82. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 6,19. Тираж 50 000 экз. Зак. № 256. Цена 75 коп.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат  
Союзполиграфпрома при Государственном  
комитете СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



**ХОАКИН САНТАНА**

(родился в 1939 году),  
как и герой книги  
"Воспоминания об улице Магнолии",  
был участником движения против  
режима диктатора Батисты.  
В течение многих лет  
Хоакин Сантана занимается  
журналистикой. В 1960 году  
вышли сборники его стихов  
"Внутренний мир" и "Ключ",  
в 1965 — работа о кубинском  
поэте Мануэле Наварро Луне.  
"Воспоминания об улице Магнолии" —  
второе прозаическое  
художественное произведение  
писателя. Первый роман  
Хоакина Сантаны "Ноктюрн зверя"  
опубликован в 1976 году.